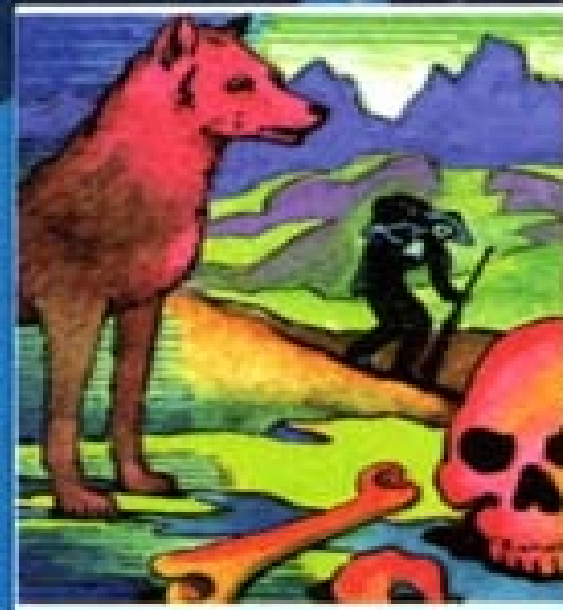


стремительной игрой, он уже не находил времени и зубоскалить. Эта перемена отразилась и на Линии стали суровее. Улыбка реже кривила его тоявлялась в уголках глаз. Даже в глазах, черных как глаза индейца, все чаще загорались злые жестокое сознание власти. Его великая жизненная те изменила и исходила от всего его существа; ченная сила была иная, новая, сила человека-попирающего ногами побежденных. Его борьба носила отчасти характер безличный; его настоящие или исключительно с самцами его собственной тяготы пути в мороз и снег отзывались на нем слабее, чем острая горечь борьбы с себе подобными.

К нему еще возвращалась иногда бывшая веселость бывало редко; большей частью веселое настроенлось коктейлем, выпитым перед обедом. На Северного много и нерегулярно, теперь же он стал пить спиртное.

Это развилось совершенно так же, как физическая, так и душевная. Коктейль был чем-то вроде щита, защиты от познание. Пламенный переживший переживания, вызванного его дерзкими поступками, и он бессознательно ощущал необходимость или прервать. В течение долгого времени, что коктейль блестяще отгонял, коктейль воздвигал каменную стену, которую он никогда не пил, но сейчас же



из конторы начинал сооружать эту стену, преграду на пути напряженной мысли. И контора немедленно переставала существовать. После заката она оживала на час или два, а оставляя ее — он спускался за порцией угля в котельню. Конечно, иногда док нарцисса для него было так велико, что он удерживался от коктейля в тех случаях, когда должен было присутствовать на обеде или совещании, где встречались врагов или союзников и проводились ранее намеченные

# Джек Лондон

Рассказы цикла «Любовь к жизни» пронизаны глубоким оптимизмом и верой в физические и духовные силы человека, в его способность преодолевать любые трудности и лишения.

---

- - [ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ](#)
    -
  - [БУРЫЙ ВОЛК](#)
    -
  - [ВСТРЕЧА В ХИЖИНЕ](#)
    -
  - [ПУТЬ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА](#)
    -
  - [ИСТОРИЯ КИША](#)
    -
  - [НЕОЖИДАННОЕ](#)
    -
  - [ПУТЬ ЛОЖНЫХ СОЛНЦ](#)
    -
  - [ТРУС НЕГОР](#)
    -
  - 
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [8](#)
    - [9](#)
    - [10](#)
-

Благодарим Вас за использование нашей библиотеки [Librs.net](http://Librs.net).

# ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

*Потоком времени не все поглощено.  
Жизнь прожита, но облик ее вечен.  
Пусть золото игры, в волнах погребено —  
Азарт игры как выигрыш отмечен.*

Два путника шли, тяжело хромая, по склону холма. Один из них, шедший впереди, споткнулся о камни и чуть не упал. Двигались они медленно, усталые и слабые, и напряженные их лица были покрыты той покорностью, какая является результатом долгих страданий и перенесенных лишений. К плечам их были привязаны тяжелые мешки. Головные ремни, проходящие по лбу, придерживали ношу на шее. Каждый путник нес в руках ружье.

Они шли согнувшись, выдвинув вперед плечи, с глазами, уставленными в землю.

— Если бы только были у нас два патрона из тех, какие мы спрятали в нашей яме, — сказал второй человек.

Его голос звучал тускло. Он говорил без всякого чувства. Первый человек, прихрамывая, переходил пенящийся между скал ручей — вода его была мутная, молочно-известкового цвета — и ничего ему не ответил.

Второй путник вошел в воду вслед за первым. Они не сняли обуви, хотя вода была ледяная — такая холодная, что их ноги болезненно немели.

В некоторых местах вода доходила до колен, и оба они шатались и теряли равновесие.

Путник, идущий сзади, поскользнулся о камень. Он чуть было не упал, но с большим усилием выпрямился, издав острый крик боли. Его голова кружилась, и он выставил правую руку, как бы ища опоры в воздухе.

Найдя равновесие, он двинулся вперед, но зашатался и снова чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего товарища, который даже не повернул головы.

Он стоял неподвижно в течение минуты, как бы что-то обдумывая. Затем крикнул:

— Послушай, Билл, я вывихнул себе ногу!

Билл шел, шатаясь, по известковой воде. Он не обернулся. Человек, стоявший в ручье, посмотрел вслед уходящему. Его губы немного дрожали, и видно было, как двигались темно-рыжие усы, их покрывавшие. Он пытался смочить губы языком.

— Билл! — крикнул он снова.

Это была мольба сильного человека, очутившегося в беде. Но Билл не повернул головы. Человек смотрел, как спутник его уходит шатающейся походкой, нелепо прихрамывая и качаясь взад и вперед. Билл поднимался по отлогому склону низкого холма и подходил к мягкой линии окаймляющего его неба. Говоривший смотрел на уходящего товарища, пока тот не перевалил через вершину и не исчез за холмом. Тогда он перевел взгляд на окружающий ландшафт и медленно охватил взором мир. Только он — этот мир — остался ему теперь после ухода Билла.

Солнце неясно обозначалось вблизи горизонта, почти скрытое за туманом и паром, поднимающимися из долины. Эти туманные облака казались густыми и плотными, но были бесформенны и не имели очертаний.

Путник, опираясь на одну ногу, вынул часы.

Было четыре часа, и так как стоял конец июля или начало августа — точно он не знал числа, — солнце должно было находиться на северо-западе. Он посмотрел на запад: где-то там, за пустынными холмами, лежало Великое Медвежье озеро. Он знал также, что в этом направлении Полярный круг проходит через проклятую область бесплодных равнин Канады.

Ручей, в котором он стоял, был притоком Медной речки, которая течет к северу и вливается в заливе Коронации в Северный Ледовитый океан. Он никогда не бывал там, но видел эти места на карте Компании Гудзонова залива.

Снова взор его охватил окружающий пейзаж. То было невеселое зрелище. Всюду кругом обрисовывалась мягкая линия неба. Всюду поднимались невысокие холмы. Не было ни деревьев, ни кустов, ни травы — ничего, кроме бесконечной и страшной пустыни, вид которой внезапно заставил его содрогнуться.

— Билл, — прошептал он несколько раз. — Билл!

Он опустил среди молочной воды, как будто окружающая ширь теснила его неодолимой и суровой своей властью и сокрушала ужасом своей обиденности. Он стал дрожать, словно в сильной лихорадке, пока ружье не выпало из его рук и с плеском не ударилось о воду. Это как будто пробудило его. Подавляя свой страх, он стал шарить в воде, пытаясь найти ружье. Он придвинул ношу к левому плечу, чтобы облегчить тяжесть для поврежденной ноги. Затем он начал осторожно и медленно, корчась от боли, продвигаться к берегу.

Он не остановился. С отчаянием, граничившим с безрассудством, не обращая внимания на боль, он спешил по направлению к холму, за которым исчез его товарищ. Его фигура выглядела еще более нелепой и странной, чем облик ушедшего путника. Снова в нем поднималась волна страха, и преодоление его стоило ему величайших усилий. Но он справился с собой и снова, отодвинув мешок еще дальше к левому плечу, продолжал путь по склону холма.

Дно долины было болотисто. Толстый слой мха, подобно губке, впитывал в себя воду и удерживал ее близко к поверхности. Вода эта проступала из-под ног путника на каждом шагу. Ноги его тонули в мокром мху, и он с большим усилием освобождал их из топи. Он выбирал себе дорогу от одного открытого места к другому, стараясь идти по следу того, кто прошел тут раньше. След этот вел через скалистые площадки, подобные островам в этом мшистом море.

Хотя он был один, но не терял дороги. Он знал, что придет к месту, где сухой карликовый ельник окаймляет берег маленького озера, называвшегося на языке страны «Тичиничили», или Страна Низких Стволов. В это озеро втекал небольшой ручей, вода которого не была молочной, подобно воде других ручьев этой местности. Он помнил хорошо, что вдоль этого ручья рос тростник. Он решил следовать по его течению до того места, где течение раздваивается. Там он перейдет ручей и найдет другой ручей, текущий к западу. Он пойдет вдоль него, пока не дойдет до реки Дизы, куда впадает этот ручей. Здесь он найдет яму для провизии — в потайном месте, под опрокинутой лодкой, с наваленной на нее грудой камней. В этой яме лежат заряды для его пустого ружья, рыболовные принадлежности, маленькая сетка для лова — одним словом, все приспособления для охоты и ловли пищи. Он найдет там также немного муки, кусок свиного сала и бобы.

Там Билл будет ожидать его, и они вместе отправятся на лодке вниз по ДIZE к Великому Медвежьему озеру. Они будут плыть по озеру по направлению к югу, все южнее и южнее, пока не достигнут реки Маккензи. Оттуда они снова двинутся к югу. Таким образом они уйдут от наступающей зимы, от ее льдов и холода. Они дойдут, наконец, до Поста Компании Гудзонова залива, где растут высокие и густые леса и где пищи сколько угодно.

Вот о чем думал путник, продолжая продвигаться. Напряжению его тела соответствовало такое же усилие его мысли, пытающейся убедиться в том, что Билл его не оставил, что он, наверно, будет ждать его у ямы. Этой мыслью он должен был себя успокаивать. Иначе идти было бесцельно и надо было ложиться на землю и умирать. Мысль его усиленно работала. Наблюдая, как неясный шар солнца медленно опускался к северо-западу, он все снова и снова вспоминал малейшие подробности начала его бегства к югу, вместе с Биллом, от настигавшей их зимы. Снова и снова он мысленно перебирал запасы провизии, спрятанной в яме. Вспоминал он

все время и запасы Поста Компании Гудзонова залива. Он не ел два дня, а перед этим долго, очень долго недоедал. Часто он наклонялся, срывал бледные ягоды кустарника, клал их в рот, жевал и глотал. Эти ягоды — семя, заключенное в капсуле с безвкусной жидкостью. На вкус это семя очень горько. Человек знал, что ягоды совершенно непитательны, но терпеливо продолжал жевать.

В девять часов он ушиб большой палец ноги о каменную глыбу, пошатнулся и свалился на землю от усталости и слабости. Он лежал некоторое время без движения, на боку. Затем высвободился из ремней своего дорожного мешка и с трудом принял сидячее положение. Было еще не совсем темно. В свете дрящущих сумерок он ощупью старался отыскать между скалами обрывки сухого мха. Собрав кучу, он зажег огонь — теплящийся, дымный огонь — и поставил на него кипятить свой котелок.

Он развернул свою поклажу и стал считать свои спички.

Их было шестьдесят семь. Для верности он три раза пересчитал их. Он разделил их на небольшие пакеты, которые завернул в непромокаемую вощеную бумагу, и положил одну пачку в пустой кисет для табака, другую — за подкладку измятой шляпы, третью — под рубашку у тела. Сделав это, он вдруг поддался паническому страху, снова развернул их и пересчитал. И снова он насчитал шестьдесят семь.

Он высушил обувь у огня. Его мокасины разлезались на мокрые лоскуты. Шерстяные носки были сплошь в дырках, а ноги — изранены и окровавлены. Лодыжка горела от вывиха. Он посмотрел ее и нашел, что она распухла и стала величиной с колено. Он оторвал длинную полосу от одного из своих двух одеял и туго завязал ногу. Другими полосками он обернул ноги, пытаясь заменить этим мокасины и носки. Затем выпил кипящую воду из котелка, завел часы и полез под верхнее одеяло. Он спал мертвым сном. Но недолго было темно. Солнце встало на северо-востоке. Вернее, заря забрезжила в этом месте, ибо солнце осталось скрытым за серыми облаками.

В шесть часов он проснулся, лежа на спине. Он глядел прямо вверх в серое небо и чувствовал, что голоден. Повернувшись на локте, он внезапно вздрогнул от раздавшегося вблизи громкого фырканья и увидел карибу, рассматривающего его с живым любопытством. Животное находилось на расстоянии не более пятидесяти футов от него. Мгновенно и мучительно остро он ощутил вкус оленьего филе и увидел его шипящим над огнем. Машинально взял незаряженное ружье, взвел курок и нажал на спуск. Олень фыркнул и отскочил. Его копыта гремели, когда он бежал по скалам.

Путник выругался и отбросил ружье. Он громко застонал, пытаясь встать на ноги. Это была тяжелая и медленная работа. Его суставы напоминали ржавые шарниры. Они двигались с трудом, задерживаемые трением связок. Чтобы согнуть какой-нибудь член, требовалось огромное усилие воли. А после того как он встал окончательно на ноги, целая минута пошла на то, чтобы выпрямиться.

Он вполз на небольшое возвышение и обозрел местность. Не было ни деревьев, ни кустов — ничего, кроме серого моря мхов, где изредка выделялись такие же серые скалы, серые озерки и серые ручьи. Не было даже намека на солнце. Он не имел понятия о том, где находится север, и забыл дорогу, по которой накануне вечером пришел в это место. Но он знал, что не потерял пути. Скоро он придет в Страну Низких Стволов. Он чувствовал, что она лежит где-то налево, недалеко — быть может, сейчас же за соседним низким холмом.

Он вернулся, чтобы уложить свою поклажу для путешествия. Затем удостоверился в существовании трех отдельных пачек спичек, хотя не пересчитывал их. Но он колебался, раздумывая, при виде плоского мешка из лосиной кожи. Его размеры были невелики, и он мог покрыть его обеими руками. Но он знал, что мешок весит пятнадцать фунтов — столько же,

сколько вся остальная поклажа. Это беспокоило его. Он отложил мешок и стал свертывать поклажу. Но скоро взор его снова вернулся к кожаному мешку, и он снова за него схватился, бросив вызывающий взгляд на окружающую местность, словно упрекая пустыню в желании украсть его добро. Когда же он встал на ноги, с тем чтобы двинуться дальше, и пошел вперед, тяжело ступая, — мешок был включен в ношу на его спине.

Он двигался влево, останавливаясь изредка, чтобы собирать ягоды с кустов. Его нога околелела, и прихрамывание стало более заметным. Но боль эта была незначительна в сравнении с болью в животе. Голод мучил его с такой остротой, что он не мог удерживать в мысли направление, ведущее в Страну Низких Стволов. Ягоды не утишали этих мук и в то же время своей едкостью болезненно раздражали полость рта.

Он вышел в долину и вспугнул там несколько птармиганов<sup>[1]</sup>, сидевших на скалах и на кустах. Они поднялись, хлопая крыльями, издавая звуки «кер-кер-кер». Он бросал в них камни, но попасть не мог. Тогда он положил свою поклажу на землю и начал к ним подкрадываться, подобно тому, как кошка подкрадывается к воробью. Острые скалы ранили ноги, и колени его оставляли за собой на земле кровавый след. Но боль эта была несравнима с мучениями голода. Он полз по мокрому мху, и одежда его пропитывалась водой, леденившей его члены. Его голод был так мучителен, что он ничего этого не замечал. Но птармиганы удалялись все дальше и дальше, и наконец их крик стал для него словно насмешкой. Он проклинал их и кричал, подражая их «кер-кер-кер».

Наконец он дополз до одной птицы, которая, вероятно, спала. Он не видал ее, пока она не вылетела из своего убежища в скалах и не порхнула мимо его лица. Он попытался схватить ее, и в руке остались три пера из ее хвоста. Глядя вслед улетающей птице, он остро и мучительно ее ненавидел. Затем вернулся к прежнему месту и навьючил на себя мешок.

В течение дня он вышел в долину, где дичи было еще больше. Стадо северных оленей — их было больше двадцати — прошло мимо, дразня его своей близостью. Он ощущал сумасшедшее желание бежать за ними и был почти уверен, что сможет их настигнуть. Черно-бурая лисица бежала ему навстречу, неся в зубах птармигана. Путник закричал. Это был страшный крик, и лисица испуганно метнулась в сторону, но птармигана не бросила.

Поздно, после полудня, он шел вдоль ручья, молочного от извести, пробегающего между редкими зарослями тростника. Крепко ухватившись за тростник у самого его корня, он вытащил нечто вроде молодой луковицы, размером не больше кровельного гвоздя. Она была нежна, и зубы с наслаждением в нее вонзились. Но волокна корня были крепки и пропитаны водой. Как и ягоды, тростник был непитателен. Путник отбросил свою поклажу и на четвереньках вполз в заросли, вырывая луковицы и перетирая их зубами, подобно травоядному животному.

Он очень устал и часто ощущал желание лечь и заснуть. Но его подгонял голод — гораздо острее, чем желание достичь Страны Низких Стволов. Он искал лягушек в лужах и рыл ногтями землю, отыскивая червей, хотя знал, что так далеко на севере не существует ни лягушек, ни червей.

Он тщетно искал в каждой луже. Наконец, уже в сумерках, он нашел в одной из луж одинокую рыбу — небольшого пискаря<sup>[2]</sup>. Он погрузил в воду свою руку до плеча, но рыба увильнула. Тогда он опустил обе руки и поднял со дна молочно-известковый ил. В своем возбуждении он упал в лужу и вымочился до пояса. Но вода стала слишком мутной, чтобы в ней можно было разглядеть рыбу, и он должен был ждать, пока ил уляжется.

Преследование продолжалось, пока вода не стала снова мутной. Но он не мог ждать. Он отстегнул от своего мешка ведро и стал вычерпывать воду из лужи. Сперва он вычерпывал, яростно плеща на себя водой и выливая ее на такое небольшое расстояние, что она текла обратно в лужу. Тогда он стал работать более внимательно, пытаясь оставаться хладнокровным,

хотя сердце его билось в груди и руки дрожали. Через полчаса в луже воды не осталось. Но рыбы не было. Он нашел скрытую щель между камнями, через которую она ушла в соседнюю большую лужу... И из этой лужи нельзя было бы вычерпать воду в течение суток. Знай он только об этой щели — он мог бы закрыть ее камнем в самом начале — и поймал бы рыбу.

Так думал он и опустил, съездившись, на мокрую землю. Сперва он плакал вполголоса, а затем громко, словно обращаясь с жалобой к беспощадной пустыне. И долго еще потом он всхлипывал без слез.

Он зажег костер и согрелся тем, что пил горячую воду. Затем, как и накануне, устроил себе ночлег на сухой каменной площадке; осмотрел — сухи ли спички, и завел часы. Одежда была мокрая и липкая. Его нога болезненно ныла. Но он сознавал только, что голоден. Он спал тревожно и видел во сне нескончаемые пиры и празднества, видел тонкие яства.

Проснулся он простуженным и больным. Солнца не было. Серая земля и серое небо еще больше потемнели. Дул сырой ветер, и первые снежинки покрывали белеющим покровом вершины холмов.

Воздух вокруг него сгущался и белел в то время, как он раскладывал костер и кипятил воду. Это был не то снег, не то дождь: хлопья были большие и мокрые. Сперва они таяли, как только прикасались к почве; но их падало все больше и больше, и белый покров постепенно расстилался кругом. Снег тушил огонь и портил собранный путником запас сухого мха.

Это послужило сигналом для отправки в путь. Он двинулся с поклажей на спине. Он не знал, куда идет. Его больше не заботила мысль о Стране Низких Стволов, и он перестал думать о Билле и о яме под перевернутой лодкой около реки Дизы. Он помнил только одно, и это был глагол «есть». Он сходил с ума от голода. Он не обращал внимания на направление своего пути, стараясь только держаться вдоль дна долины. Он прокладывал себе путь через мокрый снег к ягодам на кустах и шел, ощупывая тростники и вырывая их корни. Но последние были совсем безвкусны. Он нашел какую-то кислую траву и съел все ее побеги. Но ее видно было очень мало, так как это была ползучая поросль, исчезающая под тонким покровом снега.

В этот вечер он не разводил огня и не имел горячей воды. Он лег спать под одеяло и спал беспокойным голодным сном. Снег превратился в холодный дождь. Он несколько раз просыпался и ощущал его капли на своем лице.

Проглянул день — серый день без солнца. Дождь перестал. Острота голода исчезла. Чувствительность, поскольку она вызывала стремление насытиться, была истощена. Осталась тупая, тяжелая боль в желудке, но это не особенно ему мешало. Он стал рассудительней и был снова озабочен мыслью о Стране Низких Стволов и складе у реки Дизы.

Он разорвал остатки одного из своих одеял и обмотал ими свои израненные ноги. Затем снова перевязал больную ногу и приготовился продолжать путешествие. Осматривая поклажу, он долго раздумывал над плоским мешком из лосиной кожи, но в конце концов захватил его с собой.

Под действием дождя снег растаял, и только вершины холмов продолжали белеть. Солнце показалось. Ему удалось определить по компасу направление, и он знал теперь, что потерял дорогу. Быть может, в блужданиях последних дней он подался слишком далеко влево. Поэтому он ударился вправо, с тем чтобы уравновесить возможное отклонение от правильного пути.

Хотя мучения голода были уже не столь остры, но он был очень слаб и сознавал это. Он должен был часто останавливаться для отдыха и в это время жевал ягоды и корни тростника. Язык его был сух и распух; казалось, он покрылся тонким пухом. Во рту было горько. Сердце также причиняло ему много хлопот. Когда он ступал несколько шагов — оно начинало сильно биться, а затем словно прыгало вверх и вниз в мучительных перебоях, от которых ему трудно дышалось и голова его кружилась.



В середине дня он нашел двух пискарей в большой луже. Было невозможно вычерпать воду, но теперь он был хладнокровнее, и ему удалось поймать их в жестяное ведро. Они были не длиннее мизинца, но он не ощущал особенного голода. Тупая боль в животе постепенно стала исчезать. Казалось, что желудок его дремлет. Он съел рыб сырыми, заботливо разжевывая их, ибо еда теперь была делом простого благоразумия. Есть он не хотел, но знал, что должен есть, чтобы жить.

Вечером он поймал еще трех пискарей. Он съел двух и оставил третьего про запас для завтрака. Солнце высушило клочки мха, и он мог согреться горячей водой. В этот день он сделал не больше десяти миль. В следующий день, двигаясь только тогда, когда сердце ему позволяло, он сделал не более пяти миль. Но желудок не причинял ему ни малейшего беспокойства. Он собрался спать. Страна была неведомая.

Все чаще встречались карибу, попадались и волки. Нередко их вой проносился по пустыне, и раз он увидел впереди трех крадущихся волков.

Еще одна ночь прошла. Утром, будучи более рассудительным, он развязал ремень, связывавший плоский мешок из лосиной кожи. Из последнего высыпался золотой песок и выпали слитки. Он разделил золото на две половины и спрятал одну часть на выступе скалы, завернув слитки в кусок одеяла. Другая часть была положена обратно в мешок. Оторвав полосы единственного оставшегося одеяла, он обернул ими свои ноги. Он все еще цеплялся за ружье, так как в яме у реки Дизы находились заряды.

День был туманный. В этот день голод в нем снова проснулся. Он был очень слаб, а голова кружилась так сильно, что временами он переставал видеть. Теперь он часто спотыкался и падал. Раз, споткнувшись, он свалился как раз над гнездом птармигана. В гнезде было четыре птенчика, накануне вылупившихся из яйца, — маленькие комочки трепещущей жизни, достаточные только для одного глотка. Он жадно съел их, запихивая живыми в рот и раздавливая зубами как яичную скорлупу. А мать с криком летала вокруг него. Он пытался сшибить ее ружьем, но тщетно. Он стал бросать в нее камнями и случайным ударом перебил крыло. То перепархивая, то волоча разбитое крыло, она пыталась спастись.

Цыплята только обострили его аппетит. Он неловко подпрыгивал на своей больной ноге, бросая в нее камни и дико крича; затем замолкал, продолжая за ней гнаться, падая и терпеливо поднимаясь или протирая глаза руками, когда голова его слишком кружилась. Охота увлекла его на болотистое место на дне долины, где он увидел на мокром мху следы человека. Это не были его следы — он хорошо это видел. Должно быть, здесь проходил Билл. Но остановиться он не мог, так как птармиган убежал все дальше. Он сперва его поймает, а затем расследует это дело.

Птицу он загнал. Но и его силы иссякли. Судорожно двигаясь, она лежала на боку. И он также лежал на боку, шагах в десяти от нее, задыхаясь и не имея сил, чтобы подползти к ней. Когда же он оправился, она тоже собралась с силами и упорхнула в то время, когда его жадная рука уже готовилась ее схватить. Долго продолжалось преследование. Но ночь наступила, и птица спаслась. Он споткнулся от слабости и упал лицом вниз, с мешком на спине. Падая, он разрезал себе щеку. Долгое время он не двигался. Затем перевернулся на спину, завел часы и лежал там до утра.

Еще один туманный день. Половина одеяла ушла на обмотки для ног. Он не нашел следов Билла. Впрочем, это было безразлично. Голод гнал его слишком властно. Он спрашивал себя только — не потерялся ли также и Билл в этой пустыне. К полудню ему невольно стало тащить свою ношу. Снова он разделил золото, высыпав на этот раз половину прямо на землю. Днем он выбросил остальную часть и оставил только половину одеяла, жестяной котелок и ружье.

Он стал галлюцинировать. Ему казалось, что у него остается один нетронутый заряд: лежит, случайно незамеченный, в затворе ружья. А вместе с этим он знал, что затвор пуст. Но

галлюцинация ежеминутно возобновлялась. Устав бороться с нею, он открыл затвор — и нашел его пустым. Разочарование его было так же велико, как если бы он в самом деле твердо надеялся найти патрон.

Это повторялось много раз, и он то и дело открывал затвор, чтобы убедиться, что в нем нет заряда. Временами его мысль блуждала в еще более фантастических грезах. Он шел точно автомат, а в это время странные идеи и представления копошились, словно черви, в его мозгу. Впрочем, эти уходы в область нереального длились недолго: снова и снова муки голода возвращали его к действительности. Раз он внезапно пробудился от такого сна наяву и увидел зрелище, которое чуть-чуть не заставило его упасть в обморок. Перед ним стояла лошадь! Он не верил своим глазам и усиленно стал протирать их, чтобы отогнать густой туман, окутавший его зрение. Постепенно он разобрал, что это не лошадь, а большой бурый медведь. Зверь глядел на него с воинственным любопытством.

Человек инстинктивно поднял ружье на половину расстояния до плеча, и только несколько секунд спустя к нему вернулась способность соображения. Он опустил ружье и вынул из ножен у бедра охотничий нож, попробовал пальцем его лезвие и убедился, что оно отточено. Он бросится на медведя и убьет его! Но сердце его начало отбивать угрожающее: тук-тук-тук. Затем — ряд перебоев, и он почувствовал, что словно железный обруч сжимает его лоб и туман овладевает его мозгом.

Его смелость стала исчезать, сменяясь волной великого испуга. А что если зверь нападет на него — такого слабого, почти беззащитного?

Он выпрямился и принял возможно более внушительную позу, держа нож и глядя прямо в глаза медведю. Медведь неловко подвинулся на несколько шагов, встал на задние лапы и зарычал. Если бы человек побежал, он бросился бы за ним. Но человек не бежал: его обуяло мужество страха. Он тоже издал яростный крик, и в голове его билась неизбывная любовь к жизни и звучал непреодолимый страх, столь неразрывно связанный с этой любовью.

Медведь слегка отступил, рыча, но явно боясь этого таинственного существа, стоящего перед ним твердо и бесстрашно. Человек не двигался; он застыл как изваяние, и только когда медведь скрылся и опасность миновала, им овладел припадок нервной дрожи, и он свалился в изнеможении на мокрый мох.

Но вскоре, собравшись с силами, он двинулся дальше, охваченный новым страхом. Теперь он боялся уже не смерти от недостатка пищи, но был одержим ужасной мыслью, что звери разорвут его раньше, чем голод истощит последнюю частицу его жизненной силы. Вокруг бродили волки. Их вой слышался отовсюду, наполняя воздух угрозой; от этой угрозы, в своем начинающемся безумии, он слабо отмахивался руками — словно отталкивал от себя колеблемый ветром тент палатки.

Волки то и дело приближались по двое и по трое, пересекая путь, каким он шел. Но они все же держались от него на достаточном расстоянии — видимо, их было немного. Они привыкли охотиться за карибу, который оказывает мало сопротивления, и с опаской относились к человеку — странному животному, ступающему на задних ногах и способному, быть может, защищаться когтями и зубами.

К вечеру он дошел до места, где лежали кости, недавно оставленные волками. Их добычей был молодой карибу — час назад он был еще жив. Путник осмотрел кости, начисто обглоданные и вылизанные, розоватые — клеточная ткань, видимо, еще не отмерла. Неужели и он превратится в эту грудку костей до конца дня? Так вот что такое жизнь?! Умереть — разве это не значит уснуть? В смерти — великое успокоение и мир. Так почему же он не хочет умереть?

Но он не долго философствовал. Он присел на мху, высасывая из костей соки, еще сохранившиеся в клетках. Сладкий вкус мяса, тонкий и неуловимый, как воспоминание, выводил

его из себя. Ломая зубы, он принялся разгрызать кости, затем стал разбивать кости камнем и истолок их в порошок, который проглотил. Второпях он ударил себя по пальцам и порою недоумевал, почему не чувствует боли.

А затем наступили ужасные дни со снегом и дождем. Он не знал уж, когда устраивает стоянку и когда снимается с лагеря. Шел он и по ночам и днем, отдыхал везде, где ему случалось падать; и когда жизнь вновь вспыхивала, полз дальше. Сознательно он уже не боролся. Жизнь — сама жизнь, не желавшая умирать, — гнала его вперед. Он уже больше не страдал. Его нервы притупились, онемели, а в сознании проплывали жуткие видения и сладостные сны.

На ходу он сосал и жевал истолченные кости карибу, которые собрал и унес с собою. Он не переходил больше через холмы и ущелья, но машинально шел вдоль большого потока, протекавшего по дну широкой и неглубокой долины. Но он не видел ни воды, ни долины. Он ничего не воспринимал, кроме своих видений. Душа и тело его как будто шли — вернее, ползли рядом, — оставаясь разъединенными и связанными одною тонкою нитью.

Он проснулся в полном сознании, лежа на спине на выступе скалы. Солнце ярко сияло. Неподалеку слышалась поступь карибу. В уме его проносились смутные воспоминания о дожде, ветре и снеге, но он не знал — боролся ли с бурей два дня, либо две недели.

Он лежал некоторое время без движения, отогревая на солнце свое изможденное тело. Хороший день, думал он. Может быть, ему удастся определить свое местонахождение? Под ним, внизу, текла широкая и спокойная река. Он не знал ее и был удивлен. Медленно проследил он взглядом ее течение, вьющееся изгибами между пустынными, голыми холмами; холмы эти выглядели более оголенными и низкими, чем виденные им ранее. Медленно и внимательно, без возбуждения и даже без обычного интереса он следил за течением этой незнакомой реки и увидал, что оно вливается в яркое и блестящее море. Это не произвело на него особенного впечатления. Галлюцинация или мираж, подумал он, — вероятнее всего, галлюцинация — следствие его расстроенного душевного состояния! И словно в подтверждение, он увидел корабль, стоявший на якоре в открытом море. На мгновение он закрыл глаза и затем снова раскрыл. Странно — видение не исчезало! Но как перед тем он знал, что не могло быть зарядов в пустом затворе ружья, так и теперь был уверен в призрачности моря: кораблей в сердце пустыни быть не могло. И вдруг он услышал за собою странное сопение и как бы задыхающийся кашель. Медленно, очень медленно, едва двигаясь от слабости и околечения, он перевернулся на другую сторону. Вблизи ничего не было видно, но он терпеливо ждал. Снова раздались сопение и кашель, и в нескольких десятках шагов он увидел между двумя скалами серую голову волка. Острые уши его, однако, не стояли приподнятыми вверх, как обычно у волков, глаза выглядели мутными и налились кровью, а голова уныло и безнадежно была опущена. Животное все время мигало на солнечном свете и казалось больным. В то время как он на него смотрел, оно снова засопело и закашляло.

«Это, по крайней мере, — действительность», — подумал он и повернулся в другую сторону, чтобы убедиться, что галлюцинации уже нет. Но море все еще блестело вдали, и корабль был ясно виден. «Неужели это в самом деле действительность?» Он закрыл глаза и некоторое время размышлял. И вдруг понял. Он шел не на север, а на восток, уходя от реки Дизы, двигаясь в направлении Долины Медных Рудников. Этот широкий и медленный поток — Медная река. Мерцающее море — Ледовитый океан. Корабль — китоловное судно, зашедшее далеко на восток из устья реки Маккензи. Оно стояло на якоре в заливе Коронации.

Он вспомнил карту, виденную им когда-то в конторе Компании Гудзонова залива, и все стало для него ясным и понятным.

Он обратился к делам, не терпящим отлагательств. Обмотки оказались сношенными, и ноги его превратились в бесформенные куски мяса. Одеядо он уже потерял; ружья и ножа тоже не

было. Он потерял где-то шапку с пачкой спичек в подкладке. Но спички на его груди сохранились сухими в табачном кисете и в пакете из вощенной бумаги. Он посмотрел на часы. Они показывали четыре часа и все еще шли. Очевидно, он их машинально заводил.

Спокойствие и хладнокровие не покидали его. Несмотря на чрезвычайную слабость, боли он не ощущал. И голоден он не был. Мысль о еде не особенно его тревожила, и сознания он не терял. Оторвав материю брюк снизу до колен, он обмотал ее вокруг ног. Каким-то образом ему удалось сохранить жестяной котелок. Он сознавал, что ему предстоит тяжелый путь к кораблю, и решил сперва напиться горячей воды.

Его движения были медленны, и он дрожал, как в лихорадке. Решившись встать, чтобы идти собирать сухой мох, он обнаружил, что не может подняться. Он повторил попытку — так же безуспешно — и затем удовольствовался тем, что пополз на руках и ногах. Пришлось проползти мимо больного волка. Животное неохотно отодвинулось, облизывая губы ослабевшим языком. Он заметил, что язык этот был не красный, как обычно, а желто-бурый и покрыт каким-то сухим налетом.

Выпив котелок горячей воды, путник нашел, что может не только стоять, но даже двигаться — так, впрочем, как мог бы передвигаться и умирающий. Уже ежеминутно он был вынужден отдыхать. Его поступь была слабой и неверной, и его движения похожи на движения больного волка. Шел он медленно, и когда темнота скрыла мерцающее море, оказалось, что за весь день он прошел только четыре мили.

Ночью он не раз слышал кашель больного волка и мычание оленей.

Он знал, что больной волк тащится по его следу, надеясь, что человек умрет первым. Утром он увидел зверя, наблюдавшего за ним жадным и голодным взглядом. Зверь полулежал-полустоял, с хвостом между ногами — как несчастная, брошенная собака, — и дрожал от холода, безжизненно скаля зубы, когда человек обратился к нему хриплым шепотом.

Взошло яркое солнце, и путник, шатаясь и падая, шел все утро к кораблю. Погода была исключительная. То было короткое индейское лето Дальнего Севера. Оно могло длиться неделю и в любой день исчезнуть.

После полудня путник напал на след. Это был след человека, который уже не мог идти, а тащился на четвереньках. Путник сообразил, что это мог быть Билл, но думал об этом без особенного интереса. Он не испытывал любопытства, ибо давно уже потерял способность ощущать и чувствовать по-настоящему. Он стал нечувствителен к боли. Желудок и нервы его заснули. Но трепетавшая в нем жизнь неустанно гнала его вперед. Он чувствовал себя совершенно изможденным, а жизнь не сдавалась. Подстегиваемый ею, он продолжал есть ягоды, ловить пискарей и пить горячую воду и с опаской следил за идущим по пятам волком. Скоро след тащившегося впереди человека пресекся, и он наткнулся на несколько свежееобглоданных человеческих костей. Вокруг них сырой мох сохранил следы волчьей стаи, а на мху лежал плоский мешок из лосиной кожи — точь-в-точь такой же, как и его. Мешок был разорван острыми зубами. Он поднял его, хотя мешок был слишком тяжел. Билл нес его до конца! Ха-ха! Вот когда можно было посмеяться! Он — оставленный позади — выживает и понесет мешок к мерцающему морю! Его смех звучал хрипло и жутко — подобно карканью ворона. Больной волк присоединился к нему унылым воем. Но человек вдруг замолк. Как может он смеяться над Биллом, когда это, лежащее здесь — Билл? Эти кости, розово-белые и чистые;— Билл!..

Он отвернулся. Да, конечно, Билл его бросил. Но все же он не возьмет золота и не будет сосать его костей. Впрочем, подумал он, Билл это сделал бы — случись только все наоборот.

Он подошел к луже воды, наклонился над ней, ища пискарей, и вдруг отдернул голову, как будто его ужалили. В воде он увидел свое собственное отражение — такое страшное, что он был потрясен. В луже плескались три пискаря, но она была слишком велика, чтобы можно было

вычерпать из нее воду. После нескольких неудачных попыток поймать их котелком, он оставил это намерение. Был он так слаб, что боялся упасть в воду и утонуть. Поэтому он и не решался довериться реке и продолжать путешествие на каком-нибудь странствующем бревне, выброшенном на песчаный берег.

За этот день расстояние между ним и кораблем уменьшилось приблизительно на три мили. В следующий день — на две, ибо он уже мог только ползти, подобно тому, как полз Билл. В конце пятого дня корабль находился еще в семи милях от него, а он не в силах был делать больше одной мили в день. Но индейское лето все еще держалось, и он продолжал ползти, временами падая от слабости, перекатываясь с бока на бок. Все время за собой он слышал кашель и сопение больного волка. Колени человека превратились — так же, как и его ноги, — в сырое мясо, и хотя он завертывал их в куски рубашки, оторванные от ее спины, они оставляли за собой на мху и на камнях красный след. Раз, обернувшись, он увидел, что волк жадно лижет этот кровавый след, и он вдруг понял, что ждет его, если... если он не поймает этого зверя! И тогда разыгралась одна из самых страшных трагедий: больной ползущий человек, больной прихрамывающий волк — два живых существа — тащились, умирающие, через пустыню, охотясь друг на друга.

Если бы волк был здоров — пожалуй, было бы легче. Но мысль о том, что он послужит пищей для этого отвратительного полумертвого существа, была ему противна. Он стал разборчив. Он снова начал галлюцинировать, и проблески сознания становились все реже и короче.

Раз он проснулся от сопения у самого его уха. Волк неловко отпрыгнул, теряя устойчивость и падая от слабости. Это было нелепо, почти смешно, но отнюдь его не забавляло. Впрочем, он не боялся. Ему было уже не до этого. Но мысль его оставалась ясной, и, лежа, он обдумывал положение. Корабль был не более как в четырех милях от него. Он видел его явственно, протерев глаза для того, чтобы смахнуть расстилавшийся туман. Он видел также парус небольшой лодки, прорезывавшей воду блестящего моря. Но ему уже не проползти этих четырех миль! Сознание это давало ему своего рода спокойствие. Он знал, что не может проползти даже и одной мили. И все же он страстно хотел жить. Было бы бессмысленно умереть после всего того, через что он прошел! Он не мог примириться с такой судьбой. Умирая, он отказывался умереть. То было явное безумие: находясь в самых когтях смерти, он бросал ей вызов и вступал с нею в решительную схватку!

Он закрыл глаза и стал тщательно собираться с силами, пытаясь не отдаваться смертельной слабости, постепенно охватывавшей — подобно нарастающему приливу — все его существо. Эта смертельная усталость была в самом деле похожа на морской прилив. Она двигалась, приближалась и постепенно затопляла сознание. Иногда он чувствовал себя почти затопленным ею, и ему удавалось осиливать беспомощность только моментами. В результате какого-то странного душевного процесса воля его напрягалась и он мог сопротивляться наступающему его забытью.

Терпение волка поражало. Но не менее поразительно было терпение человека. В течение половины дня он лежал без движения, борясь с забытьем. По временам томление нарастало в нем, и он снова начинал галлюцинировать. Но все время — и бодрствуя и в полузабытьи — он прислушивался к хриплому дыханию вблизи себя.

Вдруг он перестал его слышать. Он медленно очнулся от сна и почувствовал, что чей-то язык лижет его руку. Он ждал. Зубы, схватившие его тело, медленно сжимались; давление их постепенно увеличивалось. Волк напрягал последние силы, чтобы вонзить зубы в добычу, которую он так давно поджидал. Но человек тоже долго ждал, и укушенная рука схватила волка за челюсть. Медленно — волк едва-едва боролся, а рука слабо его держала — другая рука тоже

потянулась, чтобы схватить зверя. Через несколько минут человек всем своим весом опрокинулся на зверя. Руки были слишком слабы, чтобы задушить волка, но он прижался лицом к пушистому горлу, и рот его был полон шерсти. Через полчаса человек почувствовал в своем горле какую-то теплую струю. Это не было приятно... Словно растопленный свинец вливался ему в желудок. Он глотал, напрягая всю свою волю. Затем он перевернулся на спину и заснул.

На борту китобойного судна «Бедфорд» находилась научная экспедиция. С палубы кто-то заметил на берегу странное существо. Оно двигалось по песку к воде. Определить, что это за существо, члены экспедиции не могли и, будучи любознательными, сели в лодку и отправились к берегу. Там они увидели некое существо — правда, еще живое, но которое едва можно было назвать человеком. Слепое и без сознания — оно извивалось по земле точно громадный червяк. Большинство его движений было безрезультатно, но оно все же проявляло большое упорство. Извиваясь и перекатываясь, оно подвигалось вперед со скоростью приблизительно нескольких десятков футов в час.

Три недели спустя человек лежал на постели китобойного судна «Бедфорд» и со слезами, струящимися по исхудалому лицу, рассказывал, кто он и что пережил. Он говорил несвязно о своей матери, о солнечной местности в Южной Калифорнии, о доме среди апельсиновых рощ и цветов.

Через несколько дней он сидел за столом с учеными и офицерами корабля. Он наслаждался видом большого количества поданных блюд, ревниво следя за тем, как исчезала пища. Каждый съеданной кусок он провожал взглядом, полным глубокого сожаления. Его преследовал страх, что запасы провизии иссякнут. Он был в здравом уме, но за едой ненавидел этих людей и постоянно расспрашивал повара, юнгу, капитана про запасы провизии. Они его успокаивали бесчисленное число раз. Но он не верил и подглядывал в кладовую, чтобы удостовериться собственными глазами.

Заметили, что человек этот полнеет. Он становился толще с каждым днем. Ученые качали головами и строили теории. Они ограничили его порции за столом, но, несмотря на это, он все полнел — словно надувался под своей одеждой.

Матросы смеялись. Они знали, в чем тут дело. И когда ученые стали за ним следить, они тоже узнали. Они увидели, как он крадет после завтрака и, подобно нищему, с протянутой рукой, спрашивает матроса. Матрос смеется и дает ему кусок морского сухаря. Тот жадно его схватывает, любит им, как скупец золотом, и прячет за пазуху. То же он проделывал и с подачками других матросов.

Ученые не показали виду. Они оставили его в покое, но незаметно осмотрели его постель. Она была обложена кругом сухарями, и в матрасе оказались сухари, каждый уголок и щель были забиты крошками. И однако он был в здравом уме. Он только принимал меры против возможного голодания. Он должен выздороветь от этой навязчивой идеи, говорили ученые. И в самом деле, он выздоровел раньше даже, чем якорь «Бедфорда» загремел в бухте Сан-Франциско.

# БУРЫЙ ВОЛК

Трава была еще покрыта росой, и она задержалась несколько, чтобы надеть калоши. Выйдя из дому, она нашла мужа, погруженного в созерцание распускающегося миндального бутона. Она окинула ищущим взором высокую траву и местность вокруг фруктовых деревьев.

— Где же Волк?

— Он только что был здесь. — Уолт Ирвин мигом оторвался от поэтических и метафизических раздумий, вызванных чудом органического развития цветка, и посмотрел вдаль. — Я видел, как он гнался за кроликом.

— Волк! Волк! Сюда! Волк!.. — закричала Мэдж. Они миновали расчищенную полянку и пошли по лесной тропинке, украшенной восковыми колокольчиками манзаниты.

Ирвин всунул в рот мизинцы обеих рук и помог ей резким свистом.

Закрыв уши ладонями, она сделала гримасу.

— Однако для поэта, нежно настроенного, ты умеешь издавать довольно-таки некрасивые звуки. Мои барабанные перепонки... знаешь, они полопались. Ты свистишь громче, чем...

— Орфей?

— Нет, я хотела сказать: чем уличный бродяга, — заключила она строго.

— Поэзия не мешает быть практичным. Мне, по крайней мере, она не мешает. Я не обладаю ведь тем легкомысленным гением, который неспособен продавать свои перлы журналам.

Он принял шутливо-напыщенный вид и продолжал:

— Я не певец чердаков, но я и не салонный соловей. Почему? Да потому, что я практичен. Песнями я богат; а их я могу превращать — конечно, обменивая — в домик, увитый цветами, в прекрасный горный луг, в рощицу... Наконец, во фруктовый сад из тридцати семи деревьев, в длинную грядку ежевики да в две короткие грядки земляники, не говоря уже о четверти мили журчащего ручья. Я — торгош красота, продавец песен, и о пользе я не забываю. Нет, моя дорогая Мэдж, я не забываю. Я пою песни и, благодаря издателям журналов, превращаю их в дыхание западного ветра, шепчущего в наших рощах, и в журчание струй и ручейков между мшистых камней. И от журчащих струй и дыханий ветерка зарождается песнь: то снова моя песнь возвращается ко мне: она не та, какую я пел, она другая, но вместе с тем она та же самая, но только чудесно преображенная...

— О, если бы все твои превращения были так удачны! — засмеялась она.

— Назови хоть одно неудачное.

— Эти два великолепных сонета, которые ты превратил в корову, оказавшуюся потом по дойности худшей в округе.

— Она была прекрасна... — начал он.

— Но она не давала молока, — прервала его Мэдж.

— Но она была красива, не правда ли? — настаивал он.

— Вот тут-то и видно, что не всегда красота приносит пользу. А вот и Волк.

В чаще, покрывающей склон холма, раздался треск сухостоя, и вслед за этим, в сорока футах над ними, на краю скалистой стены, показалась волчья голова. Его передние лапы сдвинули камешек, и с настороженными ушами и неподвижными глазами он наблюдал падение камня, пока тот не ударился о землю у их ног. Тогда Волк перевел на них взгляд, оскалил зубы и словно ухмыльнулся.

— Волк! Волк, хороший Волк! — звали его мужчина и женщина.

При звуке их голосов собака прижала уши, и голова ее как будто ластилась под лаской невидимой руки.

Они смотрели, как она лезла обратно в чашу, и продолжали идти. Несколько минут спустя на повороте дороги, где спуск был не так крут, Волк присоединился к ним. Он сдержанно проявлял свои чувства. После того как мужчина потрепал его около ушей, а женщина приласкала, он вырвался и помчался вперед по тропинке; скоро он был уже далеко. Он бежал, без усилий — совсем по-волчьи — скользя по земле.

Сложением и тяжестью он походил на крупного волка. Но окраска говорила за то, что волком он не был. Эта окраска выдавала в нем собаку — бурая, темно-коричневая, с красноватым оттенком. Спина и плечи были темно-бурой окраски, которая светлела на боках, а на животе становилась темно-желтой. Белые пятна на горле, на лапах и над глазами казались грязноватыми, ибо в них также проглядывал бурый оттенок. Глаза его напоминали топазы.

И женщина и мужчина одинаково любили эту собаку. Быть может, отчасти это было связано с теми усилиями, каких стоило им завоевать ее расположение. Когда собака впервые странным образом попала в их горный домик, приручение ее оказалось далеко не легким делом. Голодная, с израненными ногами, она прибежала неизвестно откуда и тотчас же изловила кролика под самыми их окнами. Затем она потащилась вниз и заснула у ручья, около кустиков ежевики. Когда Ирвин подошел, чтобы осмотреть гостя, тот и на него злобно зарычал; такая же встреча ждала Мэдж, когда она спустилась, чтобы предложить ему, в знак мира, большую тарелку моченного в молоке хлеба.

Гость этот оказался очень необщительной собакой и отвергал все их попытки сближения, не позволяя себя тронуть, всякий раз угрожающе скаля зубы и ощетиновая шерсть. И все же собака осталась. Она ночевала у ручья и съедала пищу, которую они ей приносили, предварительно удостоверившись, что они отошли на достаточное расстояние. Очевидно, она оставалась у них только потому, что находилась в необычайно жалком физическом состоянии. Когда же она немного поправилась, то сразу исчезла.

Тем бы все и кончилось, если бы Ирвин вскоре не поехал по делам в северную часть штата. Проезжая в поезде на границе между Калифорнией и Орегонем, он посмотрел случайно в окно и вдруг увидел своего необщительного гостя, бегущего вдоль дороги, подобно бурому волку. Собака бежала, усталая, но неутомимая, покрытая пылью и грязью от двухсотмильного пробега.

Ирвин был очень импульсивен — как настоящий поэт. Он слез с поезда на следующей станции, купил у мясника мяса и поймал бродягу в окрестностях города. Обратный путь был совершен в багажном вагоне, и таким-то образом Волк вторично вернулся в горный коттедж. Здесь он был привязан в течение недели и обласкан обоими супругами. Но ласка их оставалась вынужденно осторожной. Далекий и чуждый, как пришелец с другой планеты, Волк отвечал рычанием на их нежные слова. Он никогда не лаял. За все время его пребывания у них они никогда не слышали его лая.

Приручить его было нелегко. Но Ирвин любил такого рода задачи. Он заказал металлическую пластинку с надписью: «Возвратите Уолту Ирвину. Глен Эллен, Округ Сонома, Калифорния». Эта пластинка была привинчена к ошейнику, надетому на шею собаки. Затем ее отпустили, после чего она немедленно исчезла. День спустя была получена телеграмма из Мендосинского округа. В двадцать часов собака пробежала сто миль к северу и все еще бежала, когда ее поймали.

Она вернулась со скорым поездом из Уэльс-Фарго, была привязана в течение трех дней; на четвертый — ее освободили, и она снова убежала. На этот раз она достигла Южного Орегона раньше, чем ее поймали и вернули. Всегда, как только ей давали свободу, собака убегала, и всегда — в северном направлении. Как будто какая-то навязчивая идея гнала ее к северу. Ирвин назвал это «инстинктом дома», истратив гонорар за целый сонет на уплату за возвращение собаки из Северного Орегона.



В другой раз бурому страннику удалось пробежать всю Калифорнию, Орегон и большую часть Вашингтона раньше, чем его вернули. Путешествовал он с замечательной скоростью. Поев и отдохнув, собака, как только ее освобождали, пускалась изо всех сил бежать через обширные пространства. В первый день она могла пробежать полтора ста миль. Затем двигалась с ежедневной скоростью приблизительно в сто миль — и так вплоть до поимки. Она всегда возвращалась и всегда уходила свежей и сильной, пробиваясь на север, гонимая каким-то непонятным влечением.

Но наконец, после года тщетных попыток к бегству, она примирилась с неизбежностью и стала жить в коттедже, где в первый день задушила кролика и заснула у ручья. Но даже после этого долгое время прошло, пока она позволила новым своим хозяевам себя погладить. Это было великой победой, ибо они одни могли ее трогать. Ни один из гостей в коттедже подойти к ней не мог. Глухое ворчание раздавалось при приближении каждого незнакомца. Если бы кто-нибудь имел смелость подойти ближе, обнажались зубы, а ворчание превращалось в столь свирепое и злобное рычание, что даже испытанные храбрецы поспешно отступали.

Собаки фермеров боялись ее, ибо знали рычание собак, но никогда еще не слышали рычания волка.

Ничего не известно было хозяевам коттеджа о прошлом этой собаки. Они знали только, что к ним она пришла с юга, но ровно ничего не знали о ее прежнем владельце, от которого она, по-видимому, убежала. Миссис Джонсон — их ближайшая соседка и поставщица молока — уверяла, что это собака — из Клондайка. Ее брат искал золото в этой ледяной стране, и она считала себя авторитетом во всем, что касалось этого вопроса.

Они не спорили с ней. Концы ушей Волка, видимо, были когда-то отморожены, и так сильно, что вылечить их было уже нельзя. Вместе с тем он походил на снимки с собак Аляски, помещаемые в журналах и газетах. Уолт и Мэдж часто обсуждали его прошлое и старались угадать, руководствуясь тем, что они слышали и читали, какова была его жизнь на Севере. Они знали, что Север все еще его привлекает. Ночью они слышали по временам, как он тихо скулит. Когда же дул северный ветер и ударял легкий морозец — им овладевало сильнейшее беспокойство, и он поднимал жалобный вой, похожий на волчий. Но он никогда не лаял. И никакими способами нельзя было заставить его залаять.

Они долго спорили о том, кому из них принадлежит собака. Каждый предъявлял на нее права, указывая на признаки ее преданности к нему. Но мужчина, по-видимому, имел преимущество. Главным образом потому, что он был мужчиной. Было ясно, что Волк не имел никакого опыта в обращении с женщинами. Он их не понимал и никогда не мог примириться с юбками Мэдж. Их шелест всегда внушал ему беспокойство, а в ветреный день она не могла даже подойти к нему.

Но с другой стороны — именно Мэдж его кормила. В ее распоряжении была кухня, и только по ее милости Волку разрешалось переступить священные пределы. Это позволило ей заслужить его расположение, несмотря на препятствие, заключавшееся в ее одежде. Но тогда Уолт постарался приучить Волка лежать у его ног, пока он писал; он потратил на ласки и уговоры немало времени, но в конце концов все-таки игру выиграл. Его победа объяснилась главным образом тем, что он был мужчиной; Мэдж, однако, уверяла, что если бы Уолт по-настоящему занимался превращением песен, — вместо того чтобы приручать Волка, — они смогли бы приобрести за это время еще четверть мили журчащего ручья.

— Пора бы мне получить известие об этих триолетах, — сказал Уолт после пятиминутного молчания, продолжая идти по тропе. — В почтовом отделении, наверное, будет чек, и мы превратим его в великолепную гречневую муку, в кленовый сироп и в новую пару галош для тебя.

— И в великолепное молоко великолепной коровы миссис Джонсон, — добавила Мэдж. — Ведь завтра первое число.

Уолт слегка нахмурился, но затем его лицо повеселело, и он ударил рукой по боковому карману.

— Ничего, у меня здесь в кармане чудесная новая корова — первая дойная корова Калифорнии.

— Когда ты написал это? — живо спросила она. Но тут же добавила с укором: — И ты мне даже не показал!

— Я оставил это стихотворение с тем, чтобы прочесть его тебе на пути в почтовое отделение, как раз вот в таком местечке, — отвечал он, указывая на сухое бревно, где можно было усесться.

Небольшой ручеек вытекал из густых папоротниковых зарослей, скользил по мшистому камню и перебежал дорогу у их ног. Из долины поднималась звонкая песня жаворонка. Вокруг путников, порхая из солнечных просторов в тенистые места, мелькали большие желтые бабочки.

Во время чтения рукописи на дороге под ними послышались тяжелые шаги. Уолт только что окончил чтение стихов и обратился за одобрением к жене, когда незнакомец показался на повороте тропинки. Он был без шапки и сильно вспотел. Одной рукой он вытирал себе лицо платком, в другой — держал новую шляпу и крахмальный воротничок, снятый с шеи. Был он крепкого сложения, и казалось, что от его мускулов вот-вот треснет его костюм, купленный, видимо, готовым.

— С жарким днем! — приветствовал его Уолт. Он пользовался каждым случаем, чтобы установить хорошие отношения с сельскими жителями.

Человек остановился и кивнул.

— Я не особенно привык к жаре, — отвечал он, как бы извиняясь. — Скорее больше привык к температуре на нуле.

— Ее вы не найдете в западной стране, — засмеялся Уолт.

— Да, но я ведь не для этого пришел. Я стараюсь найти свою сестру. Быть может, вы знаете, где она живет? Ее имя Джонсон — миссис Вильямс Джонсон.

— Вы ее брат из Клондайка? — живо воскликнула Мэдж. — Мы о нем так много говорили!

— Да, это я, — ответил он сдержанно. — Мое имя Миллер — Скифф Миллер. Я бы хотел сделать ей сюрприз.

— Вы идете правильно, только свернули на тропинку. — Мэдж встала, чтобы показать ему дорогу, идущую около четверти мили вдоль ущелья. — Вы видите этот хвойный лес? Идите по тропинке — она несколько сворачивает направо. Это приведет вас вскоре прямо к ее дому.

— Благодарю вас, — сказал он. Он хотел тронуться, но, казалось, прирос к земле. Он глядел на Мэдж с восхищением, которое не пытался даже скрыть. Вместе с тем видно было, что это приводит его в смущение.

— Мы хотели бы, чтобы вы нам рассказали про Клондайк, — сказала Мэдж. — Нельзя ли нам прийти как-нибудь, когда вы будете у вашей сестры? А еще лучше — не придете ли вы с нею к нам пообедать?

— Благодарю вас, — проговорил он как бы машинально. Затем, овладев собою, прибавил: — Я не могу долго оставаться. Я должен снова ехать на Север. Видите ли, я заключил контракт с правительством для поставки почты.

Мэдж выразила сожаление. Он сделал новую тщетную попытку уйти, но не мог оторвать своих глаз от ее лица. В своем восхищении он даже пересилил смущение, и теперь, в свою очередь, Мэдж вспыхнула и почувствовала себя неловко.

И как раз в тот момент, когда Уолт готовился что-нибудь сказать, чтобы помочь выйти из

затруднительного положения, Волк вышел из кустов и предстал перед ними.

Рассеянность Скиффа Миллера сразу пропала. Красивая женщина мгновенно исчезла из поля его зрения. Он смотрел только на собаку, и изумление было написано на его лице.

— Черт возьми! — произнес он медленно и значительно.

Он уселся на бревно, предоставляя Мэдж стоять рядом.

При звуке его голоса уши Волка отогнулись, и он радостно оскалил зубы. Затем медленно подбежал к незнакомцу, понюхал его руки и стал лизать их.

Скифф Миллер погладил голову собаки и медленно и значительно повторил:

— Черт меня возьми!.. Извините, — тотчас же поправился он, обращаясь к Мэдж. — Я несколько удивлен, вот и все.

— Мы тоже удивлены, — ответила она. — Мы никогда не видели раньше, чтобы Волк подошел к незнакомцу.

— Вы его называете Волком? — спросил тот.

Мэдж утвердительно кивнула.

— Я не понимаю, однако, его дружбы к вам. Может быть, это потому, что вы из Клондайка. Он ведь клондайкская собака.

— Да, — сказал Миллер рассеянно. Он взял Волка за переднюю лапу, поднял ее и осмотрел пальцы. — Что-то мягкие, — заметил он. — Он давно не возил.

— Послушайте, — не удержался Уолт, — замечательно, как он позволяет вам с собой обращаться!

Скифф Миллер поднялся, позабыв свое недавнее смущение при виде Мэдж, и спросил резким деловым тоном:

— Давно она у вас?

Но как раз в этот момент собака, ластившаяся к Миллеру, залаяла. Это был взрыв лая — короткий и радостный — но несомненно лай.

— Это ново для меня, — заметил Скифф Миллер.

Уолт и Мэдж с удивлением глядели друг на друга. Чудо совершилось — Волк залаял.

— Смотрите, он лает, но это в первый раз, — сказала Мэдж.

— Да, я тоже впервые слышу его лай, — подтвердил Миллер.

Мэдж улыбнулась. Человек этот, очевидно, был шутник.

— Конечно, — сказала она, — ведь вы его видите всего пять минут.

Скифф Миллер быстро на нее взглянул, как бы стараясь угадать, что она хотела этим сказать.

— Я думал, что вы поняли, — сказал он медленно. — Я думал, вы поняли при виде того, как она со мной обходится. Это — моя собака. Ее зовут не Волком, а Бурым.

Уолт сразу занял оборонительную позицию.

— Откуда вы знаете, что это ваша собака? — спросил он.

— Потому что она моя, — был ответ.

— Это голословно, — сказал Уолт резко.

Скифф Миллер со своей обычной медлительностью посмотрел на него и затем, показывая кивком на Мэдж, спросил:

— Откуда знаете вы, что она ваша жена? Вы можете ответить: «Потому что она моя». И я ведь могу тоже сказать, что это голословно. Собака — моя. Я вырастил и воспитал ее, и потому думаю, что могу знать. Я вам это докажу.

Скифф Миллер обратился к собаке:

— Бурый!.. — Его голос прозвучал громко и повелительно, и при этом окрике уши собаки отогнулись, словно от ласки. — Ги! — Собака плавно повернула направо. — Ну, теперь

вперед! — И собака сразу приостановила свое круговое движение и пошла прямо, послушно останавливаясь, когда он приказывал.

— Я могу сделать это также и свистом, — сказал Скифф Миллер с гордостью. — Она была у меня вожаком.

— Но вы не возьмете ее с собой? — спросила Мэдж с дрожью в голосе.

Человек утвердительно кивнул.

— Назад, в этот ужасный Клондайк, в этот мир страданий?

Он кивнул и прибавил:

— О, там вовсе не так уж плохо. Посмотрите на меня. Мне кажется, я достаточно здоров.

— Но для собак! — продолжала Мэдж. — Лишения, тяжелый труд, голод, мороз... О, я читала об этом и знаю!

— Я чуть его раз не съел, — мрачно заметил Миллер, — если бы я не убил в тот день лося, был бы ему капут.

— Я умерла бы скорее! — воскликнула Мэдж.

— Ну, здесь-то все обстоит иначе, — объяснил Миллер. — Вы не должны здесь есть собак. Но когда вы попадаете туда, вы начинаете рассуждать иначе. Ведь вы никогда там не были и потому ничего в этом не понимаете.

— Ну, вот именно, в этом-то и дело, — доказывала она, — в Калифорнии не едят собак. Почему бы вам его не оставить здесь? Он счастлив. Он никогда не будет нуждаться в пище — вы это видите. Он никогда не будет страдать от холода и лишений. Здесь его ласкают. Нет дикости ни в людях, ни в природе. Больше он никогда не узнает бича. Что же касается погоды, здесь никогда не бывает снега.

— А зато нестерпимая жара летом, — засмеялся Скифф Миллер.

— Но вы не отвечаете, — продолжала возбужденно Мэдж. — Что можете вы ему предложить в вашей жизни на Севере?

— Пищу, когда она у меня есть.

— А когда нет?

— Когда нет — не едят.

— А работа?

— Работы всегда много! — крикнул Миллер нетерпеливо. — Работа без конца, и голод, и мороз... вот что Бурый получит, когда пойдет со мной. Но он это любит. Он привык к этому. Он знает эту жизнь, родился там и вырос; а вы ничего в этом не понимаете. Вы не знаете, о чем говорите. Собака — из того края, и там только будет счастлива.

— Собаку не отдадим, — сказал Уолт решительно. — А потому — что толку в дальнейшем споре...

— Что такое? — спросил Скифф Миллер, нахмурившись и покраснев.

— Я сказал, что не отдам собаки, — и дело с концом... Не верю я, что она ваша. Вы, быть может, когда-нибудь и видели Волка, да, пожалуй, ездили на нем вместе с его владельцем. А то, что он подчиняется обычным приказаниям аляскинской возки, вовсе еще не доказывает, что он ваш. Любая собака с Аляски вас бы слушалась. Но с аляскинской точки зрения — Волк, по видимому, собака очень ценная, и потому-то вы и хотите заполучить ее в собственность. Во всяком случае вам еще придется доказать, что эта собака ваша.

Скифф Миллер спокойно и хладнокровно оглядел поэта с ног до головы, как бы оценивая его сложение. Только румянец на его лбу еще более обозначился и громадные мускулы, казалось, напряглись, выпирая из-под черного сукна его платья. Затем лицо клондайкского обитателя приняло презрительное выражение, и он сказал внушительно:

— Я не вижу ничего, что могло бы мне помешать сейчас же взять собаку.

Уолт покраснел, и мускулы его рук также напряглись. Но его жена опасливо вмешалась.

— Быть может, мистер Миллер прав, — сказала она. — Я боюсь, что он прав. Волк как будто в самом деле его знает и во всяком случае отвечает на кличку Бурый. Он сразу с ним подружился, и ты знаешь, что он никогда раньше ни с кем так не обходился. Затем вспомни, как он лаял. Он прямо ликовал от радости. Отчего? Несомненно оттого, что нашел мистера Миллера.

По виду Уолта заметно было, что он также потерял надежду.

— Пожалуй, ты права, Мэдж, — сказал он. — По-видимому, Волк — не Волк, а Бурый, и должен принадлежать мистеру Миллеру.

— Может быть, мистер Миллер продаст его? — предложила она. — И мы сможем его купить.

Скифф Миллер покачал головой. Он отбросил свою воинственность и, казалось, готов был в свою очередь проявить великодушие.

— У меня пять собак, — объяснил он, выискивая самый лучший довод, чтобы смягчить свой отказ. — Бурый был их вожаком. Они были лучшей сворой по всей Аляске. Ничто их не брало. В девяносто восьмом году я отказался продать их за пять тысяч долларов. Тогда собаки высоко ценились. Но не это было причиной такой высокой оценки. Уж очень хороша была свора. И Бурый был лучше всех. В ту зиму я отказался взять за него тысячу двести. Я не продал его тогда и не продам сейчас. Кроме того, я очень его люблю. Три года я его искал. Я почти заболел от огорчения, когда узнал, что Бурого украли, — дело не в потере денег, а в том, что дьявольски я к нему привязан, извините за выражение. Я не мог поверить своим глазам, когда увидел его у вас. Думал, что мне снится. Видите ли, я его выкормил. Каждую ночь я укладывал его спать. Мать-то у него околела, и я поил его сгущенным молоком по два доллара за жестянку, в то время как сам пил кофе без молока. Он никогда не знал другой матери, кроме меня. Он постоянно сосал мой палец; сосал, как маленький дьявол. Вот этот самый палец.

Скифф Миллер был слишком взволнован, чтобы продолжать свою речь. И он выставял палец, приговаривая: «Вот этот самый палец». Казалось, это должно было окончательно доказать его право собственности на собаку и его чувство привязанности к ней.

Он все еще глядел на свой вытянутый палец, когда Мэдж заговорила:

— Но собака... Вы не подумали о собаке!

Скифф Миллер смотрел на нее в недоумении.

— Подумали ли вы о ней? — повторила она.

— Я не понимаю, о чем вы говорите?

— Может быть, и собака имеет право на выбор, — продолжала Мэдж. — Быть может, и у нее есть свои вкусы и желания. Вы не считаетесь с ней. Вы не даете ей выбора. Вы не подумали, что она может предпочесть Калифорнию Аляске. Вы считаетесь только с собственным желанием, а с нею поступаете, как с мешком картофеля или охапкой сена.

Такая постановка вопроса была несколько неожиданной, и она, по-видимому, произвела впечатление на Миллера. Он задумался, и Мэдж воспользовалась его нерешительностью.

— Если вы в самом деле любите ее — вы должны быть счастливы тем, что дает счастье ей.

Скифф Миллер продолжал размышлять про себя, и Мэдж бросила радостный взгляд на мужа. На лице его она прочла горячее одобрение.

— Как же вы думаете? — внезапно спросил житель Клондайка.

Она в свою очередь не поняла.

— Что вы хотите сказать? — спросила она.

— Думаете ли вы, что Бурый захочет остаться в Калифорнии?

Она утвердительно кивнула головой.

— Я в этом уверена.

Скифф Миллер снова принялся размышлять, но на этот раз вслух, внимательно осматривая при этом живой предмет спора.

— Бурый был хорошим работником. Он много для меня поработал. Он никогда не ленился и великолепно обучал свежие своры. У него голова на плечах. Он все может сделать — только говорить не может. Он понимает то, что вы ему говорите. Посмотрите на него сейчас. Он знает, что мы говорим о нем.

Собака лежала у ног Скиффа Миллера, положив голову на лапы. Глаза ее, казалось, следили за собеседниками, по мере того как они поочередно говорили.

— Он еще много может поработать. Он будет годен еще много лет. И я поистине привязан к нему. Я люблю его, дьявольски люблю!

Несколько раз вслед за этим Скифф Миллер открывал рот и закрывал, но ничего не говорил. Наконец он сказал:

— Вот что я сделаю. Ваши замечания, — обратился он к Мэдж, — в самом деле имеют вес. Собака хорошо работала и, пожалуй, заработала себе отдых и имеет право выбирать. Во всяком случае, дадим ей решать. Что бы она ни решила — пусть так и будет. Вы оба оставайтесь сидеть здесь. Я прошусь с вами и пойду. Если она хочет со мной идти — пусть идет. Я не позову ее, и вы не зовите. — Он внезапно посмотрел с подозрением на Мэдж: — Только должна быть честная игра. Без уговоров, когда я поверну спину.

— Мы будем честны... — начала Мэдж.

— Я знаю манеры женщин, — прервал ее Скифф Миллер. — Их сердца мягки. Когда женщина растрогана — она способна подтасовать карты, подсматривать и лгать как черт, извините за выражение. Я говорю о женщинах вообще.

— Я не знаю, как благодарить вас, — сказала Мэдж с дрожью в голосе.

— Я не вижу пока оснований для вашей благодарности, — ответил он. — Бурый еще не решил. Вам все равно, если я уйду медленно? Это только справедливо, так как уже за сто ярдов меня не будет видно...

Мэдж согласилась и прибавила:

— Я вам даю обещание, что мы ничего не сделаем, чтобы повлиять на него.

— Ну, в таком случае, я могу двинуться, — сказал Скифф Миллер тоном уходящего собеседника.

Уловив изменение его голоса, Волк быстро поднял голову и еще быстрее вскочил. И в то время, как мужчина и женщина обменивались рукопожатием, он поднялся на задние лапы, поставив передние ей на бедро. В то же время он лизал руки Скиффа Миллера. Когда последний подал руку Уолту, Волк повторил то же самое. Он опирался всем телом на Уолта и лизал руки обоих мужчин.

— Это не праздник. Во всяком случае, это не праздник, — были последние слова жителя Клондайка. Он повернулся и медленно пошел вверх по тропинке.

Волк наблюдал за ним на расстоянии двадцати футов, как будто ожидая, что тот повернет обратно. Затем, с глухим воем, Волк бросился за ним, нагнал его, поймал его руку зубами и мягко пытался его остановить.

Ничего не добившись, Волк прибежал обратно к месту, где сидел Уолт Ирвин, поймал зубами его рукав и пытался потащить его за уходящим человеком.

Недоумение Волка быстро возрастало. Он хотел быть в двух местах одновременно — со старым и новым хозяином, — в то время как расстояние между ними росло. Он бросался возбужденно из стороны в сторону; неровно прыгал, подбегая то к одному, то к другому, в мучительной нерешительности — не зная, чего хочет, желая сохранить обоих и не будучи в

состоянии выбрать. Он резко повизгивал и тяжело дышал.

Внезапно он сел на задние лапы и поднял нос кверху, открывая рот все шире и шире. Вслед за этим из горла его вылетел низкий звук, еле уловимый для человеческого уха. Все это была прелюдия к вою.

Но как раз когда вой должен был раздаться, рот собаки закрылся, и она снова посмотрела внимательно на уходящего человека. Затем Волк повернул голову и так же внимательно посмотрел на Уолта. Вопрошающий взгляд его остался без ответа. Собака не встретила ни одного знака внимания, не услышала ни одного слова, которое могло бы разрешить ее сомнение.

Вид старого хозяина, приближавшегося к повороту, казалось, окончательно смутил Волка. Он вскочил на ноги и завизжал. Затем, как бы пораженный новой мыслью, он обратил свое внимание на Мэдж. До этой минуты она для него как бы не существовала. Но теперь, когда он, видимо, потерял обоих хозяев-мужчин, — она одна как будто для него оставалась. Он подошел к ней и положил голову ей на колени, уткнувшись носом в ее руку, — любимый его способ добиться ее расположения. Затем он отбежал от нее и стал игриво вертеться, то поднимаясь на задние лапы, то опуская передние на землю. Весь он был в движении — от умоляющих глаз и прижатых ушей до виляющего хвоста, и этим он как будто хотел выразить мысль, которую не мог иначе высказать.

Но и это пришлось оставить. Он был удручен холодностью этих людей, которые никогда раньше не были так невнимательны к нему. Он не получал от них ни тени ответа, ни помощи. Они не обращали на него внимания. Они как будто умерли. Волк повернулся и снова молча посмотрел на старого хозяина, уже поворачивающего за угол. Через мгновение он должен был вовсе скрыться из виду. Но Скифф Миллер ни разу не обернулся. Он шел вперед медленно и твердо, как будто совершенно не заинтересованный в том, что происходило за его спиной.

Так он дошел до поворота — и исчез из виду. Волк ждал, чтобы он снова появился. Он ждал долгое время, молча, неподвижно, как бы обратившись в камень — но камень, словно одухотворенный волей. Он издал короткий лай и затем ждал. Потом он повернулся и побежал к Уолту Ирвину. Он понюхал его руку и затем тяжело опустился к его ногам, наблюдая пустую тропинку, там, где она вела к повороту.

Маленький ручей, падающий с мшистого камня, как будто громче журчал. Не было других звуков, кроме пения жаворонков в лугах. Большие желтые бабочки медленно пролетали сквозь полосы солнечного света и терялись в тени. Мэдж взглянула на мужа с торжеством.

Но через несколько мгновений Волк поднялся на ноги. Решимость и сознание обозначились в каждом его движении. Он не посмотрел ни на мужчину, ни на женщину. Его глаза были прикованы к тропинке. Он решился, и они это знали. И они знали, что для них испытание только началось.

Он побежал рысью, и Мэдж невольно сжала губы, готовясь его позвать, но она не позвала. Она посмотрела на своего мужа и встретила его строгий взгляд. Затем она разжала губы и громко вздохнула.

Мелкая рысь Волка перешла в быстрый бег. Он бежал все быстрее и быстрее и ни разу не обернулся. Его волчий хвост был выпрямлен. Он круто повернул за угол тропинки — и исчез.

*Наплыв людей был невероятный — никогда я такого не видел. Тысяча собачьих упряжек неслась по льду. Их не видно было за дымом. Двое белых и один швед замерзли в ту ночь, и человек двенадцать застудили легкие. Но разве не видел я собственными глазами дна ямы? Оно было желто от золота, словно покрыто горчичным пластырем. Вот почему я сделал заявку на Юконе, и вот чем вызван был такой наплыв. А потом ничего из этого не вышло. Говорю вам — ничего. И я все еще не могу найти разгадку.*

## *Рассказ Шорти*

Ухватившись одной рукой за шест, управляющий движением собак, Джон Месснер удерживал сани на тропе. Другой рукой он тер себе щеки и нос; временами, когда их онемение чувствовалось сильнее, он тер еще чаще и крепче. На лоб его был надвинут козырек меховой шапки со спущенными наушниками. Остальная часть его лица была защищена густой бородой, по природе своей темно-рыжей с золотыми отливами, а в настоящее время — белой от инея.

Перед ним плелась свора из пяти собак, впряженная в тяжело нагруженные юконские сани. Постромки саней то и дело терлись о ноги Месснера, и на поворотах он вынужден был через них переступить. Делал он это с большой неловкостью — он очень устал; то и дело он задевал за веревки и спотыкался, а сани наезжали на него сзади.

Когда они наконец добрались до места, где тропа шла без изгибов и сани могли двигаться некоторое время без его помощи, — он оставил шест висеть на привязи и онемевшей правой рукой стал усиленно о него колотить.

Надо было поддерживать кровообращение в этой руке, но вместе с тем и не забывать носа и щек.

— Пожалуй, для езды слишком холодно... — сказал он. Говорил он громко — как люди, привыкшие к одиночеству. — Только безумец может ездить при такой температуре. Если сейчас не восемьдесят градусов ниже нуля, то уж наверное семьдесят девять.

Он вынул часы и затем с трудом положил их обратно в карман толстой шерстяной куртки. Потом взглянул на небо и окинул взглядом белую полосу горизонта к югу.

— Двенадцать часов, — пробормотал он. — Чистое небо, и нет солнца.

Он шел молча около десяти минут, после чего прибавил, словно продолжая:

— Я проехал очень мало. И вообще слишком холодно, чтобы ездить.

Внезапно он заревел на собак: «Уоа!» — и остановился. Его охватил панический страх за правую руку, и он начал снова усиленно колотить ею по шесту.

— Бедные вы черти, — обратился он к собакам, которые грустно легли на лед, чтобы отдохнуть. Он говорил нескладно и прерывисто, продолжая бить по шесту онемевшей рукой. — Чем это вы провинились, что другое животное завладело вами, впрягло в упряжь, сломало ваши естественные наклонности и превратило во вьючных животных?

Он тер нос уже не задумчиво, а неистово, чтобы усилить кровообращение; затем снова погнал собак. Сани ехали по замерзшей поверхности большой реки. Она тянулась за ними широкой лентой, расстилавшейся на много миль и уходящей вдаль — в фантастическое нагромождение молчаливых снежных гор. Впереди река разделялась на множество рукавов, которые окаймляли острова, вырастающие в ее русле. Острова были белы и молчаливы. Ни одно



животное или насекомое не нарушало молчания. Ни одна птица не пролетала в замерзшем воздухе. Не слышно было никаких звуков, и не видно признаков жилья.

Мир спал, и казалось, что это — сон смерти.

Мало-помалу Джон Месснер как будто сам начал приобщаться к равнодушию всего, что его окружало. Мороз все больше и больше подавлял его. Он шел с опущенной головой, апатичный, машинально потирая нос и щеки и изредка, когда можно было оставить сани без управления, ударяя рукой по шесту.

Но чуткость собак не дремала. Внезапно они остановились, обернувшись, и с серьезным вопрошающим видом уставились на хозяина. Их ресницы и морды были покрыты инеем, и сами они выглядели дряхлыми от усталости и холода.

Человек хотел было снова понудить их двинуться, но сперва остановился и, сделав усилие, посмотрел вокруг. Собаки остановились у проруби. Это была не естественная трещина во льду, а отверстие, старательно прорубленное сквозь три с половиной фута льда топором человека. Толстый ледяной слой показывал, что прорубью уже долгое время никто не пользовался. Месснер продолжал оглядываться. Собаки показывали дорогу, повернувшись своим заиндевелым телом в сторону неясной тропинки в снегу, идущей от главного речного тракта к одному из островов.

— Хорошо, я знаю, что ноги у вас болят, — сказал он. — Я разужнаю. Не меньше вашего я хочу отдохнуть.

Он влез на берег и исчез. Собаки не ложились; держась на ногах, они напряженно ждали его возвращения. Он вернулся и впрягся в сани посредством особой веревки с ремнем, который перекинул себе через плечи. Он двинул собак направо и погнал их бегом вверх на берег. Тянуть было очень тяжело, но усталость как будто исчезла.

В своем усердии вынести сани они напрягали последние силы, пригибаясь к земле и издавая радостный визг. Когда какая-нибудь собака скользила или останавливалась, идущая за нею кусала ей зад. Человек же поощрял их и грозил и также напрягал силы, чтобы вывезти тяжелую ношу.

Они стремительно поднялись на берег, повернули направо и подъехали к маленькой бревенчатой хижине. Это был домик в одну комнату, размером в восемь футов на десять. Он, по-видимому, был покинут обитателями. Месснер выпряг собак, разгрузил сани и вступил во владение хижинкой. Последний случайный ее житель оставил запас дров. Месснер поставил свою небольшую железную печь и зажег огонь. Он положил пять кусков сушеной семги для собак в печь, для того чтобы рыба оттаяла, а затем наполнил кофейник и котелок водой из проруби.

Выжидая, когда закипит вода, он наклонился над печью. Влага от его дыхания замерзла в его бороде сплошным куском льда, который начал таять. Капли стекали на печь, шипели и превращались в пар. Он очищал бороду руками, извлекая мелкие куски льда и бросая их на пол, и был погружен в это занятие, когда на улице раздался громкий лай его собак, сопровождаемый рычанием и лаем чужой своры и звуком голосов. Вскоре в дверь постучали.

— Войдите, — глухо пробормотал Месснер, обсасывая лед со своих усов.

Дверь отворилась, и он увидел за облаками пара мужчину и женщину, остановившихся на пороге.

— Войдите, — повторил он кратко, — и закройте дверь.

Завеса из пара мешала ему разглядеть вошедших. Покрывала, окутывавшие нос, щеки и голову женщины, позволяли видеть только ее два черных глаза. Мужчина был гладко выбрит, за исключением усов, покрытых инеем до такой степени, что его рот не был виден.

— Мы хотели бы знать, нет ли здесь другой хижинки, — сказал он, оглядывая голую комнату. — Мы думали, что эта хижина пустая.

— Хижина это не моя, — ответил Месснер, — я набрел на нее только несколько минут назад. Входите, устраивайте ваш ночлег. Места хватит, и вам не нужно будет ставить вашу печь.

При звуке его голоса женщина быстро на него посмотрела.

— Снимай шубу, — обратился к ней спутник. — Я разгрузю сани и принесу воды, чтобы приготовить еду.

Месснер вынес оттаявшую семгу и покормил собак. Он должен был отделить их от своры чужих собак. Возвратившись в хижину, он увидел, что незнакомец уже разгрузил свои сани и принес воду. Котелок кипел. Он насыпал в него кофе, разбавил чашкой холодной воды и снял с печи. Затем положил оттаивать в печь несколько бисквитов из кислого теста и согрел горшок с бобами, который сварил накануне и вез целое утро в мерзлом виде.

Сняв свою посуду с печи, чтобы пришельцы могли приступить к варке пищи, он, усевшись на своем постельном свертке, принялся за обед, разложенный на ящике с провизией. Между глотками он вел разговор о езде и собаках с незнакомцем, который наклонил голову над печкой и освобождал свои усы от засевшего в них льда. В хижине были две лежанки. Окончив прочищать свои усы, незнакомец бросил на одну из них свои постельные принадлежности.

— Мы будем спать здесь, — сказал он. — Если только вы не хотите занять эту лежанку. Вы пришли первый, значит, вам и выбирать.

— Занимайте какую хотите, — ответил Месснер. — Обе лежанки одинаковы.

Он разложил свои постельные вещи на другой лежанке и сел на нее с краю. Незнакомец сунул маленький складной ящик с медицинскими принадлежностями под одеяло так, чтобы тот мог служить подушкой.

— Вы врач? — спросил Месснер.

— Да, — был ответ. — Только могу вас уверить, что приехал я в Клондайк не для практики.

Женщина занялась-варкой обеда, в то время как мужчина резал сало и подкладывал дрова в печку. Внутренность хижины была слабо освещена, ибо свет проглядывал через небольшое окно, сделанное из просаленной бумаги, и Джон Месснер не мог разглядеть женщину.

Впрочем, Месснер и не особенно старался это сделать. Казалось, он не интересуется ею. Но она изредка глядела с любопытством в темный угол, где он сидел.

— О, это замечательная жизнь, — с восторгом сказал доктор, останавливаясь, чтобы поточить нож о печную трубу. — Больше всего мне нравится в ней эта борьба, этот физический труд. Все это так первобытно и так реально.

— Температура достаточно реальна, — засмеялся Месснер.

— Знаете ли вы точно, сколько сейчас градусов? — спросил доктор.

Тот покачал головой.

— Я скажу вам. Спиртовой термометр на санях показывает семьдесят четыре ниже нуля.

— Слишком холодно для езды, не правда ли?

— Это подлинное самоубийство, — вынес приговор врач. — Вы напрягаетесь, вы тяжело дышите, вбирая в легкие ледяной воздух. Легкие охлаждаются, и верхушки их замерзают. Ткани отмирают, и вы начинаете кашлять сухим кашлем. В следующее лето вы умираете от воспаления легких, удивляясь, откуда оно могло взяться. Я останусь в этой хижине неделю, если только температура не поднимется по крайней мере, до пятидесяти ниже нуля.

— Скажи-ка, Тесс, — заговорил он минуту спустя, — не думаешь ты, что кофе достаточно уже прокипел?

При звуке женского имени Джон Месснер внезапно насторожился. Он быстро на нее взглянул, и по лицу его мелькнула тень, как бы воскресший призрак давно забытой печали. Но тотчас же усилием воли он отогнал призрак. Его лицо было так же спокойно, как и раньше, хотя он оставался настороже и внутренне досадовал на слабое освещение, не позволявшее разглядеть

лица женщины.

Она машинально отставила кофейник; затем взглянула на Месснера. Но он уже овладел собою. Она увидела только человека, сидящего на краю лежанки и изучающего без особенного внимания носки своей обуви. Но в тот момент, когда она снова повернулась, чтобы заняться приготовлением пищи, он бросил на нее другой быстрый взгляд.

Глаза их на мгновение встретились, но он перевел взор на доктора, разглядывая его с еле заметной усмешкой.

Она вынула свечу из ящика с провизией и зажгла. Для Месснера было достаточно одного взгляда на ее освещенное лицо. Хижина была мала, и в следующее мгновение она была рядом с ним. Она медленно подняла свечку к его лицу и пристально на него посмотрела, как будто боялась и вместе с тем хотела его узнать. Он спокойно улыбался.

— Что ты ищешь, Тесс? — крикнул доктор.

— Шпильки, — ответила она, проходя мимо Месснера и делая вид, что отыскивает что-то в платяном мешке.

Они разложили обед на своем ящике и уселись на ящик Месснера — прямо против него. А Месснер растянулся на своей лежанке, подперев голову рукою. Было так тесно, что казалось, будто все трое сидят вместе за столом.

— Откуда вы едете? — спросил Месснер.

— Из Сан-Франциско, — ответил доктор. — Но я здесь уже два года.

— Я сам из Калифорнии, — сказал Месснер.

Женщина посмотрела на него умоляюще, но он улыбнулся и продолжал:

— Из Берклевского университета, знаете?

— Да, вы похожи на ученого, — сказал доктор.

— Жалею об этом, — засмеялся Месснер в ответ, — я предпочел бы, чтобы меня приняли, например, за золотоискателя или погонщика собак.

— Он не более похож на профессора, чем ты на доктора, — заметила женщина.

— Благодарю вас, — сказал Месснер. Затем, обратившись к ее спутнику, он спросил: — Между прочим, могу ли я узнать ваше имя?

— Хейторн, — если вы мне поверите на слово. Я оставил визитные карточки вместе с цивилизацией.

— А это миссис Хейторн? — улыбнулся Месснер, слегка кланяясь ей.

Хейторн хотел спросить имя собеседника. Он уже раскрыл рот для вопроса, но Месснер продолжал:

— Кстати, доктор, быть может, вы сумеете удовлетворить мое любопытство. В академических кругах, года два-три назад, произошел скандал. Жена одного из профессоров английского языка, — простите мне этот легкомысленный рассказ, миссис Хейторн, — исчезла с каким-то доктором из Сан-Франциско, хотя я не помню его имени. Вспоминаете вы этот инцидент?

Хейторн кивнул головой:

— Да, в свое время это произвело большой шум. Его имя было Уомбл — Грехэм Уомбл. У него была громадная практика. Я несколько был с ним знаком.

— Очень хотел бы знать, что с ними случилось? Быть может, вы что-нибудь слышали? Они не оставили никаких следов.

— Они очень ловко скрыли все следы. — Хейторн откашлялся. — Был слух, что они отправились в южные моря и там погибли на торговом судне во время тайфуна.

— В первый раз об этом слышу, — сказал Месснер. — Вы помните этот случай, миссис Хейторн?

— Отлично, — отвечала она, и спокойный ее тон совершенно не вязался с лицом, искаженным гневом. Она отвернулась, чтобы Хейторн не заметил.

Тот снова хотел было спросить имя Месснера, но последний продолжал:

— Я слышал, что этот доктор Уомбл был очень красив и имел большой успех у женщин.

— Ну, во всяком случае, эта история прикончила его, — проворчал Хейторн.

— А женщина была, кажется, очень сварлива. Я слышал в Беркли, что жизнь ее мужа была не из приятных.

— Я ничего об этом не слышал, — возразил Хейторн. — В Сан-Франциско говорили совершенно другое.

— Женщина-мученица? Распятая на кресте замужества?..

Доктор утвердительно кивнул. Серые глаза Месснера казались сдержанно любопытными. Он продолжал:

— Как и следовало ожидать, были две точки зрения. Живя в Беркли, я знал только одну сторону дела...

— Пожалуйста, еще кофе, — сказал Хейторн своей спутнице.

Женщина наполнила его чашку и рассмеялась легким смехом.

— Вы сплетничаете, как две старые дамы.

— Это очень интересно, — улыбнулся ей Месснер и продолжал разговор с доктором.

— Муж, по-видимому, имел неважную репутацию в Сан-Франциско.

— Наоборот — он был педантичен, — выпалил Хейторн с несколько излишней горячностью, — маленький ученый сухарь, без единой капли красной крови в теле.

— Знали вы его?

— Нет, я никогда его не видал. Я никогда не вращался в университетских кругах.

— И опять одностороннее мнение, — заметил Месснер. — Хотя он и не представлял собой ничего особенного в физическом отношении, все-таки едва ли был так уж плох. Он принимал деятельное участие в студенческом спорте. И не лишен был некоторого таланта. Он написал однажды пьесу, имевшую крупный местный успех. А потом я слышал, что его должны были назначить заведующим секцией английского языка. Но произошел этот казус <sup>[3]</sup>, и он вынужден был уехать. Это разбило его карьеру — так, по крайней мере, казалось. Во всяком случае, мы считали, что он окончательно выбит из строя. Думали также, что он очень любит свою жену.

Хейторн кончил свою чашку и, зажигая трубку, неясно пробормотал, что все это его мало интересует.

— Хорошо, что у них не было детей, — продолжал Месснер.

Но Хейторн взглянул на печь и сказал, надевая шапку и перчатки:

— Я пойду за дровами. Тогда можно будет снять обувь и расположиться поудобнее.

Дверь с шумом за ним затворилась. Целую минуту длилось молчание. Мужчина продолжал сидеть в том же положении на кровати. Женщина сидела на ящике, лицом к нему.

— Что вы собираетесь делать? — резко спросила она.

Месснер посмотрел на нее как будто с ленивой нерешительностью.

— Как вы думаете, что должен я сделать? Ничего театрального, надеюсь? Видите ли, я устал и ооченел от дороги, а эта лежанка очень удобна для отдыха.

Она кусала свою нижнюю губу, и видно было, что ей стоит большого труда сдержаться.

— Но... — начала она возбужденно, затем сжала кулаки и остановилась.

— Я надеюсь, вы не хотите, чтобы я убил мистера Хейторна? — сказал он мягко, почти умоляюще. — Это было бы очень грустно и, уверяю вас, совершенно не нужно.

— Но вы должны что-нибудь сделать! — воскликнула она.

— Наоборот, можно себе представить, что я ничего не должен сделать.

— Вы останетесь здесь?

Он кивнул.

Она взглянула с отчаянием вокруг и остановила взор на неразвернутом постельном свертке.

— Ночь приближается. Вы не можете здесь остаться. Вы не можете! Я говорю вам: вы не можете!..

— Конечно могу. Я мог бы вам напомнить, что я первый нашел эту хижину и вы мои гости.

Снова ее глаза оглядели комнату и остановились на второй кровати.

— Тогда мы должны уйти, — заявила она решительно.

— Это невозможно. У вас сухой, прерывистый кашель, — мистер Хейторн так умело его описал. Вы уже отчасти простудили себе легкие. Он — доктор и никогда не допустит этого.

— Тогда что же вы намереваетесь сделать? — тихо спросила она. В ее тоне была такая напряженность, что казалось — скоро должен был последовать взрыв.

Месснер смотрел на нее почти по-отечески: так много было в его взгляде сострадания.

— Дорогая Тереза, я уже сказал вам, что не знаю. Я еще об этом не думал.

— О! Вы сводите меня с ума! — Она вскочила на ноги в бессильном гневе. — Вы никогда не были таким!..

— Я весь был — мягкость и нежность, — согласился он. — Не поэтому ли вы меня оставили?

— Вы так изменились, вы так ужасно спокойны. Вы пугаете меня. Я чувствую, что вы задумали что-то ужасное. Но что бы вы ни сделали, не делайте ничего безрассудного. Не выходите из себя.

— Я никогда больше не волнуюсь, — прервал он ее. — С тех пор, как вы ушли.

— Вы стали гораздо лучше, — ответила она.

Он усмехнулся.

— Пока я обдумываю, что должен сделать я, слушайте, что должны сделать вы. Вы должны сказать мистеру... Хейторну, кто я. От этого наше пребывание в хижине может стать более... приятным, я бы сказал.

— Зачем вы последовали за мной в эту ужасную страну? — спросила она неожиданно.

— Не думайте, Тереза, что я приехал сюда искать вас. Подобными предположениями ваше самолюбие не должно обольщаться. Наша встреча — чистая случайность. Я бросил академическую жизнь и должен был куда-нибудь поехать. Откровенно говоря, я очутился в Клондайке, так как меньше всего рассчитывал здесь вас встретить.

В дверях раздался шум у замка, затем дверь открылась, и Хейторн вошел, неся охапку дров. При первом же звуке за дверью Тереза принялась убирать посуду. Хейторн снова вышел, чтобы принести еще дров.

— Почему вы нас не представили друг другу? — спросил Месснер.

— Я скажу ему, — она гордо откинула голову. — Не думайте, что я боюсь.

— Я не помню случая, чтобы вы чего-нибудь боялись.

— И я не боюсь признаться в своей вине, — добавила она. И голос и лицо ее стали мягче.

— Боюсь только, что исповедь ваша едва ли не будет преследовать корыстные цели.

— Я не хочу спорить, — сказала она с недовольным видом, но почти нежно. — Я скажу только, что не боюсь просить у вас прощения.

— Нечего прощать, Тереза. Я должен был бы вас благодарить. Правда, вначале я страдал. А затем вдруг понял, что счастлив, очень счастлив. Это было изумительнейшее открытие.

— Но что если я вернусь к вам? — спросила она.

— Я был бы, — он посмотрел на нее с легкой усмешкой, — очень этим озадачен.

— Я — ваша жена. Вы не позаботились о разводе.

— Да, — сказал он задумчиво. — Я упустил это из виду. Это одна из первых вещей, какие я должен сделать.

Она подошла к нему и положила руку ему на плечо.

— Ты не хочешь меня, Джон? — Ее голос был мягок и ласков, и прикосновение ее руки обожгло его. — Если бы я сказала тебе, что сделала ошибку? Если бы я сказала, что очень несчастна? Да, я несчастна; я сделала ошибку.

Понемногу Месснером стал овладевать страх. Он чувствовал, что колеблется под этой легкой рукой, лежащей на его плече. Казалось, он терял почву, и все его прекрасное спокойствие исчезло. Она глядела на него влажными глазами, а он, казалось, тоже как будто таял. Он почувствовал, что стоит на краю пропасти и не может противиться силе, влекущей его в бездну.

— Я возвращаюсь к тебе, Джон. Я возвращаюсь сегодня... сейчас.

Как в кошмаре, он метался под ее рукой. Она говорила, и ему казалось, что он слышит нежные переливы песни Лорелей<sup>[4]</sup>. Словно где-то заиграло фортепиано...

Она пыталась обнять его; но вдруг он вскочил, оттолкнул ее и отступил к двери. Он весь дрожал.

— Я не ручаюсь за себя! — крикнул он.

— Я говорила вам — не выходите из себя! — Она рассмеялась и приступила со спокойным видом к мытью посуды. — Успокойтесь. Вы мне не нужны. Я только играла вами. Я гораздо счастливее там, где сейчас нахожусь.

Но Месснер не поверил. Он вспомнил, с какой легкостью она меняет свое настроение. Он хорошо знает, что на самом деле она несчастна с тем — другим. И она признает свою ошибку! Эта мысль доставила ему удовлетворение. И вместе с тем он не хотел возвращения жены. Его рука опустилась на дверную ручку.

— Не убегайте, — смеялась она. — Я вас не укушу!

— Я не убегаю, — отвечал он с некоторым вызовом. Он натянул свои перчатки. — И только иду за водой.

Он собрал пустые ведра и посуду и, открыв дверь, обернулся:

— Не забудьте, что вы должны сказать мистеру... Хейторну, кто я.

Месснер пробил лед, образовавшийся на проруби, и наполнил ведра. Но он медлил возвращаться в хижину. Оставив ведра на тропе, он начал шагать по ней. Шел быстро, чтобы не замерзнуть.

Мороз щипал и жег, словно огнем. Борода Месснера была уже белой от инея, когда наконец нахмуренные его брови расправились и выражение решимости появилось у него на лице. Он обдумал свой план действий и не мог удержаться от улыбки при мысли об этом плане.

Ведра были уже подернуты легким слоем льда, когда он поднял их и пошел по направлению к хижине. Войдя, он увидел, что спутник Терезы ждет его, стоя у печи. Во всем его облике была какая-то нерешительность и неловкость. Месснер поставил на пол ведра с водою.

— Очень рад встретиться с вами, Грехэм Уомбл, — сказал он вежливо, как бы отвечая на представление.

Месснер не подал руки. Уомблу было очень не по себе. Он ощущал неловкость создавшегося положения и чувствовал вместе с тем к собеседнику ту ненависть, которую обычно обидчик питает к своей жертве.

— Так это вы — тот самый человек, — сказал Месснер вежливо-удивленным тоном. — Ну хорошо. Видите ли, я действительно рад вас встретить. Мне было несколько любопытно знать, что Тереза в вас нашла — чем, так сказать, вы были привлекательны. Ну-ну!..

И он обмерил своего соперника с ног до головы, как осматривают при покупке лошадь.

— Я представляю себе, что вы должны ко мне питать... — начал Уомбл.

— Не стоит упоминать об этом, — прервал его Месснер с преувеличенной любезностью. — Мне хочется знать, как вы нашли ее? Оказалась ли она такой, какой вы ее ожидали встретить? Была ли ваша жизнь с тех пор счастливым сном?

— Нельзя ли без глупостей? — вмешалась Тереза.

— Я не могу не быть естественным.

— Но вы все-таки можете не тянуть, — резко сказал Уомбл. — Мы хотим знать, что вы хотите делать.

Месснер притворился беспомощным.

— Я положительно не знаю. Это одно из тех невозможных положений, из которых нет выхода.

— Мы трое не можем остаться на ночь в этой хижине.

Месснер кивнул утвердительно.

— Тогда кто-нибудь должен уйти, — продолжал Уомбл.

— Это тоже непроверяемо, — согласился Месснер. — Так как три тела не могут одновременно занимать одно и то же пространство — кто-то должен уйти.

— И это будете вы, — угрожающе заявил Уомбл. — До ближайшего лагеря десять миль, но вы можете их сделать.

— Вот тут-то вы, пожалуй, и ошибаетесь, — возразил Месснер. — Почему же непременно я должен уйти? Ведь я первый нашел эту хижину.

— Но Тесс не может выйти, — объяснил Уомбл. — Ее легкие простужены.

— Я согласен с вами. Она не может пройти десять миль по морозу. Она, во всяком случае, должна остаться.

— Тогда дело обстоит именно так, как я сказал, — заявил Уомбл.

Месснер кашлянул.

— Ваши легкие здоровы? Не правда ли? — спросил он.

— Да, но что же из этого?

Снова Месснер откашлялся и сказал, выговаривая слова с особой надуманной медлительностью:

— А из этого только то, что, как вы сами изволили рассуждать, нет никаких препятствий для вашего ухода и прогулки в десять миль по морозу.

Уомбл взглянул на Терезу и уловил в ее глазах что-то вроде удовольствия.

— Ну? — спросил он ее.

Она колебалась, и он весь покраснел от ярости. Затем обратился к Месснеру.

— Довольно! Вы не можете здесь остаться!

— Нет, могу и останусь!

— Я не позволю вам. — Уомбл выпрямился.

— Все-таки я останусь.

— Я вас выброшу!

— Я вернусь!

Уомбл остановился на минуту.

— Имейте в виду, Месснер, если вы не уйдете, я вас побью. Здесь не Калифорния. Я вас избью.

Месснер пожал плечами.

— Если вы это сделаете, я созову золотоискателей, и вас повесят на первом дереве. Вы сказали правильно, что здесь не Калифорния. Они простые люди — эти золотоискатели, — и мне довольно будет показать им следы ваших ударов и заявить притязание на свою жену.

Женщина пыталась что-то сказать, но Уомбл в бешенстве повернулся к ней.

— Ты держись в стороне.

Месснер, наоборот, обратился к ней с изысканной вежливостью:

— Пожалуйста, Тереза, не вмешивайтесь.

Но гнев и необходимость сдерживаться оказали свое действие. Она начала кашлять сухим, прерывистым кашлем; с налитым кровью лицом и рукой, прижатой к груди, она ждала, чтобы припадок прошел.

Уомбл мрачно посмотрел на нее, как бы измеряя степень ее болезни.

— Что-нибудь надо сделать, — сказал он. — Ее легкие не выдержат путешествия. Она не может двинуться, пока температура не поднимется. Но я ее не уступлю.

Месснер снова кашлянул, невнятно что-то пробурчал и затем сказал, как бы наполовину извиняясь:

— Я нуждаюсь в деньгах.

Лицо Уомбла тотчас же выразило презрение. Наконец-то его противник оказался подлее его!

— У вас полный мешок золотого песку, — продолжал Месснер. — Я видел, как вы снимали его с саней.

— Сколько вам надо? — спросил Уомбл презрительно.

— Я оценил бы ваш мешок в двадцать фунтов. Что вы сказали бы о четырех тысячах?

— Но это все, что у меня есть! — вырвалось у Уомбла.

— Вы имеете ее, — ответил Месснер, как бы утешая его. — Она должна этого стоить. Подумайте, что я отдаю. Это разумная цена.

— Хорошо! — Уомбл бросился через комнату за мешком. — Хоть бы поскорее с вами развязаться, подлый змееныш!

— Ну, в этом вы ошибаетесь, — ответил Месснер с улыбкой. — С точки зрения этики, человек, который дает взятку, так же виновен, как тот, кто ее получает. Укрыватель так же дурен, как вор. Поэтому вам не следует в этом маленьком деле воображать, что вы имеете какое-то моральное преимущество.

— К черту вашу этику! — крикнул Уомбл. — Идите сюда и проверьте вес золота. Я могу вас надуть.

И женщина, в бессильной ярости опираясь о лежанку, вынуждена была присутствовать при том, как ее самое — в желтых слитках и песке — взвешивали на весах. Последние были небольшого размера, и поэтому потребовалось несколько операций. Месснер с особой тщательностью проверял каждую кладку.

— В нем слишком много серебра, — заметил он, завязывая мешок с золотом. — Думаю, дадут не больше шестнадцати за унцию. Для вас сделка очень выгодна, Уомбл!

Он любовно оцупал мешок и, как бы проявляя особое внимание к его ценности, отнес его в свои сани. Вернувшись, он собрал свою посуду и завернул постель. Когда сани были нагружены и визжащие собаки впряжены, он вернулся в хижину за перчатками.

— Прощайте, Тесс, — сказал он, стоя в открытой двери.

Она повернулась к нему, пылая гневом, пытаясь что-то сказать, но не способная говорить от душившейся ее злобы.

— Прощайте, Тесс, — нежно повторил он.

— Негодяй! — удалось ей выговорить. Она отвернулась и бросилась на постель лицом вниз, рыдая и повторяя: — Негодяй! Негодяй!..

Джон Месснер тихо закрыл за собой дверь и, понукая собак, облегченно бросил последний взгляд на хижину. Он остановил сани у берега, около проруби. Там он вынул мешок с золотом и понес его к проруби. Он разбил лед кулаком и, развязав ремни зубами, высыпал содержимое



мешка в воду. Река была неглубока в этом месте, и в свете сумерек он мог видеть желтое дно на глубине двух футов от поверхности. Сделав свое дело, он плюнул в воду.

Он направил собак по Юконской тропе. Визжа и пыхтя, они шли неохотно. Месснер шел за ними, держась за шест правой рукой и потирая левой щеки и нос. Изредка, на поворотах, он задевал о постромки и переступал веревку.

— Вперед, мои бедные, усталые звери! — кричал он. — Вперед!

# ПУТЬ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Войдя в хижину старого Эббитса, я обратился к нему с обычным заявлением:

— Я пришел варить у твоего огня и спать эту ночь под твоей крышей.

Эббитс посмотрел на меня мутными и пустыми глазами; Зилла же встретила меня довольно кисло и презрительно ворча. Зилла была его женой и считалась самой злой и ядовитой старухой на всем Юконе.

Я бы ни за что у них не остановился, если бы мои собаки не так устали и будь только остальная часть деревни заселена. Но обитателей я нашел только в этой хижине, и потому был вынужден именно в ней искать убежища.

Старый Эббитс то и дело словно пробуждался от своей умственной спячки. Тогда в его глазах зажигались проблески понимания. Несколько раз даже, во время приготовления моего ужина, он пытался гостеприимно узнать о моем здоровье, о числе и состоянии моих собак и о расстоянии, пройденном мною в этот день. Зилла же все более и более хмурилась и еще презрительней ворчала.

Нужно признаться, что у них не могло быть особенных оснований для веселья. Они лежали, скорчившись, у огня и в этом положении, по-видимому, должны были оставаться до конца своей жизни. Они были дряхлы и беспомощны, страдали от ревматизма и голода. С завистью вдыхали они аромат жарящегося мяса. Они качались вперед и назад медленно и безнадежно, и через каждые пять минут Эббитс выпускал тихий стон. Это был не столько стон страдания, сколько усталости от страдания. Он был подавлен бременем и мучительностью того, что называется жизнью, а еще больше подавлял его страх смерти. Он переживал вечную трагедию старости, потерявшей радость жизни и не приобретшей еще успокоения смерти.

Когда мое жаркое из лося зашипело на сковороде, я заметил, что ноздри старого Эббитса стали дрожать и раздуваться, по мере того как он ловил запах еды. Он перестал раскачиваться и стонать, и лицо его сделалось осмысленнее.

Зилла наоборот, качалась все быстрее, и страдание ее прорвалось в ряде коротких, резких возгласов. Мне пришло на мысль, что их образ действия напоминает поведение голодных собак, и я не удивился бы, если бы у Зиллы вдруг появился хвост и она стала бы им бить по полу — по-собачьи. Изредка Эббитс переставал раскачиваться, для того чтобы нагнуться вперед и приблизить свой трепещущий нос к источнику вкусового возбуждения.

Когда же я подал каждому из них тарелку жареного мяса, они стали жадно есть его, производя ртом громкие звуки; они чавкали изношенными зубами, не переставая бормотать. После этого я дал им по чашке горячего чая, и чавканье прекратилось. Стянутый рот Зиллы расправился, и она удовлетворенно вздохнула. Больше они уже не раскачивались и как будто впали в состояние тихой задумчивости. Глаза Эббитса увлажнились: знак сострадания к самому себе.

Они долго искали свои трубки, и это служило доказательством того, что уже давно не имели табаку. Старик так сильно хотел курить, что впал в состояние беспомощности, и я должен был зажечь его трубку.

— Почему вы одни в деревне? — спросил я. — Поумирали все другие, что ли? Или у вас была повальная болезнь и вы одни остались в живых?

Старый Эббитс покачал головой:

— Нет, болезни не было. Деревня ушла на охоту. А мы слишком стары, наши ноги недостаточно сильны, и мы не можем носить на спине поклажу. Вот мы и остаемся здесь и ждем, чтобы те, кто помоложе, вернулись с мясом.

— Что ж из того, если они вернутся с мясом? — резко спросила Зилла.

— Они могут принести много мяса, — проговорил он с надеждой.

— Хорошо, пусть будет много мяса, — продолжала она еще более резко. — Но разве это для нас? Нам, беззубым от старости, дадут грызть несколько костей. А жир, почки, языки — все это попадет в другие рты.

Эббитс опустил свою голову и тихо всхлипнул.

— Нет никого, кто охотился бы для нас, — крикнула она с ожесточением, обращаясь ко мне.

В ее словах как будто было обвинение, и я пожал плечами в знак того, что не виновен в этом неведомом, приписываемом мне преступлении.

— Знай же, белый человек, что это из-за твоего рода, из-за всех белых людей мой муж и я не имеем в старости мяса и сидим без табаку и в холоде!

— Нет, — возразил Эббитс серьезно, как бы желая восстановить справедливость. — Верно, что нас обидели; но белый человек не хотел нам зла.

— Где Моклан? — спросила она. — Где твой сильный сын Моклан и рыба, которую он постоянно тебе приносил?

Старик покачал головой.

— И где Бидаршик, твой крепкий сын? Он был всегда могучим охотником и всегда приносил тебе добрый спинной жир и сладкие сушеные языки лося и карibu. Я не вижу теперь жира и сладких сушеных языков. Твой желудок целыми днями пуст, и тебя накормил человек дурного и лживого племени.

— Нет, — вмешался Эббитс, желая быть мне приятным. — Племя белого человека не лживое. Белый человек говорит правду. Белый человек всегда говорит правду. — Он остановился, подбирая слова, чтобы облечь свое мнение в более мягкую форму. — Но белый человек говорит правду по-разному. Сегодня — одну правду; завтра — говорит другую... Потому и нельзя понять его.

— Сегодня говорить одну правду, а завтра другую, — это значит лгать, — таков был приговор Зиллы.

— Никак нельзя понять белого человека, — настаивал Эббитс.

Еда, чай и табак как будто вернули его к жизни, и он крепко цеплялся за мысли, проносящиеся в его мозгу, за ширмой мутных от старости глаз. Он как-то даже выпрямился, перестал всхлипывать, и голос его окреп.

Он обратился ко мне уже с достоинством и говорил, как равный с равным.

— Глаза белого человека открыты, — начал он, — белый человек все видит и много думает, и поэтому он очень умен. Но белый человек сегодня — непохож на белого человека завтра, и потому никак нельзя его понять. И он поступает всегда по-разному. Индеец всегда поступает одинаково. Когда наступает зима, лось всегда спускается с высоких гор. Лосось появляется весной, когда лед уходит с реки. Всегда все совершается одинаково, и потому индеец знает и понимает. Но белый человек поступает по-разному, и индеец не знает и не понимает.

— Табак очень хорошая вещь. Это то же, что пища для голодного. Сильного он делает сильнее и того, кто рассердился, заставляет забыть свой гнев. И потому табак имеет цену. Цена его очень большая. Индеец дает большого лосося за лист табаку и жуёт табак долгое время. Вкусен сок табака. Когда он течет в глотку человеку — хорошо. Что же делает белый человек? Что делает он, когда рот его полон табачного сока? Он выплевывает его на снег, и этот сок пропадает! Любит ли белый человек табак? Я не знаю. Но если он любит табак, почему он выплевывает его в снег? Это очень неразумно.

Он замолк, потянул трубку и, увидя, что она тухнет, передал Зилле. Ее губы, застывшие в

насмешливой улыбке по адресу белого человека, плотно зажали трубку.

Не окончив рассказа, Эббитс, казалось, снова одряхлел. Я спросил:

— Что же твои сыновья Моклан и Бидаршик? Почему ты и твоя старуха остаетесь в старости без мяса?

Он очнулся как бы от сна и с усилием выпрямился.

— Нехорошо красть, — сказал он. — Когда собака крадет твое мясо, ты бьешь ее палкой. Таков закон. Человек установил его для собаки, и собака должна так жить; иначе палка причиняет боль. Когда человек берет твое мясо, или твою лодку, или твою жену — ты убиваешь того человека. Это закон, хороший закон. Нехорошо красть, и потому, по закону, укравший должен умереть. Всякий, кто нарушает закон, должен нести кару. Величайшая же кара — смерть.

— Но если ты убиваешь человека, то почему не убить собаку? — спросил я.

Старый Эббитс посмотрел на меня с ребяческим удивлением, а Зилла, словно отвечая на мой глупый вопрос, усмехнулась.

— Вот взгляд белого человека, — пробормотал Эббитс, как бы примиряясь с моим неразумием.

— Это безрассудство белого человека, — огрызнулась Зилла.

— Пусть в таком случае старый Эббитс научит белого человека разуму, — сказал я кротко.

— Собаку не убивают, потому что она должна тащить сани человека. Ни один человек не везет саней другого. Поэтому человека убивают.

— А! — заметил я.

— Это — закон, — продолжал старый Эббитс. — Теперь слушай, белый человек, я тебе расскажу про большую глупость. Есть один индеец, по имени Мобитс. Он украл у белого человека два фунта муки. Что же делает белый человек? Бьет ли он Мобитса? Нет. Убивает ли он его? Нет. Что же делает он с Мобитсом? Я скажу тебе, белый человек. У него есть дом. Он сажает туда Мобитса. Крыша дома хорошая. Стены толстые. Он зажигает огонь, чтобы Мобитсу было тепло. Он дает Мобитсу много пищи. И пища хорошая. Никогда за всю свою жизнь Мобитс не ел такой пищи. Дают свиное сало, хлеб и бобы. И Мобитсу очень хорошо.

— На двери большой замок, чтобы Мобитс не убежал. Это тоже глупость. Мобитс не убежит. Здесь отличная пища, теплые одеяла, жаркий огонь. Очень глупо бежать. Мобитс не глуп. Он остается в этом месте три месяца. Он украл два фунта муки. За это белый человек хорошо о нем позаботился. Мобитс съел много фунтов муки, много фунтов сахара, свиного сала, бобов. Мобитс пил много чая. Через три месяца белый человек открывает дверь и говорит Мобитсу, что он должен уйти. Мобитс не хочет уходить. Он как собака, которую долго кормили в одном месте. Он хочет там остаться, и белый человек должен его прогнать. После этого Мобитс вернулся в деревню, и с тех пор очень растолстел. Вот что делает белый человек, и нельзя его понять. Это глупость, большая глупость.

— Но твои сыновья? — настаивал я. — Они сильные, а ты стар и голодаешь.

— Был Моклан, — начал Эббитс.

— Он был сильный человек, — прервала мать. — Он мог грести целый день и потом всю ночь без отдыха и пищи. Он знал все о ловле лососей.

— Был Моклан, — повторил Эббитс, не обращая внимания на ее слова. — Весной он спустился с юношами по Юкону, чтобы торговать в форте Кэмбел. Там есть пост, где много товаров белых людей, и там есть торговец, по имени Джонс. Там же есть белый знахарь — тот, кого вы называете миссионером. Но около форта Кэмбел — опасная вода в том месте, где Юкон суживается, и вода течет быстро, и течение разделяется и снова соединяется. Там есть водоворот, и все время течение меняется. Моклан — мой сын, и потому он храбрый человек.

— Разве мой отец не был храбрым? — спросила Зилла.

— Твой отец был храбрым, — согласился Эббитс с таким видом, словно во что бы то ни стало хотел сохранить семейный мир. — Моклан — мой сын и твой сын, и потому он храбрый. Может, из-за храбрости твоего отца Моклан был слишком смел. Когда много воды налито в котел, она переливается через край. И в Моклане слишком много было смелости, и она переливалась через край.

— Юноши боятся опасного места у форта Кэмбел. Но Моклан не боится. Он громко смеется и пускается в самые опасные места. Но там, где сталкиваются встречные течения, лодка опрокидывается. Водоворот затягивает Моклана, крутит его, тянет вниз, еще вниз — и больше его не видно.

— Ай-ай!.. — заплакала Зилла. — Он был ловок и умен, мой первенец.

— Я — отец Моклана, — сказал Эббитс, терпеливо выждав, пока женщина успокоится. — Я сажусь в лодку и еду в форт Кэмбел, чтобы получить долг.

— Долг? — прервал я. — Какой долг?

— У Джонса, главного торговца, — был ответ. — Таков закон, когда попадаешь в чужую страну.

Я покачал головой в знак непонимания, и Эббитс посмотрел на меня с сожалением. Зилла же, как всегда, презрительно фыркнула.

— Слушай, белый человек. В твоём лагере собака, которая кусается. Когда собака кусает человека, ты даешь этому человеку подарок, потому что ты сожалешь и потому что это твоя собака. Так же, если в твоей стране опасная охота или опасная вода. Ты должен платить. Это справедливо. Это закон. Брат моего отца отправился в страну Тананау и был там убит медведем. И разве племя Тананау не заплатило моему отцу, не подарило ему много одеял и дорогих мехов? Это было справедливо. Это была дурная охота, и люди племени Тананау заплатили.

— Вот я, Эббитс, отправился к форту Кэмбел, чтобы получить долг. Джонс, главный торговец, посмотрел на меня и засмеялся. Он много смеялся и не хотел платить. Тогда я пошел к тому, которого вы называете миссионером, и рассказал ему про дурную воду и про долг. Но миссионер говорил о другом. Он говорил о том, куда ушел Моклан после своей смерти. Там большие костры, и если миссионер говорил правду, Моклану никогда больше не будет холодно. А потом миссионер говорил о том, куда я отправлюсь после смерти. И он говорил неправильные вещи. Он сказал, что я слеп. Это — ложь. Он сказал также, что я в великой темноте. Это — ложь. И я ответил: день и ночь проходят одинаково для всех, и в моей деревне не больше темноты, чем в форте Кэмбел. Также я сказал, что темнота, свет и место, куда мы отправимся после смерти, — это одно; а уплатить за дурную воду — совсем другое. Тогда миссионер сильно рассердился и назвал меня нехорошими, темными именами и велел мне уйти. И я вернулся из форта Кэмбел, не получив платы. Моклан же умер, и в старости я остался без рыбы и мяса.

— Из-за белого человека, — сказала Зилла.

— Из-за белого человека, — согласился Эббитс. — Из-за белого человека вот что еще случилось. У меня был сын Бидаршик. Белый человек с ним поступил совсем не так, как с Ямиканом. И прежде всего должен я тебе рассказать про Ямикана. Это был юноша нашей деревни, и ему случилось убить белого человека. Нехорошее дело — убить человека другого племени. Тогда всегда бывает беда. Но Ямикан убил белого человека не по своей вине. Ямикан всегда говорил мягкие слова и убегал от ссоры, как собака от палки. Но этот белый человек выпил много виски и ночью пришел в дом Ямикана и дрался с ним. Ямикан не мог убежать, и белый человек хотел его убить. Ямикан не хотел умереть, и сам убил белого человека.

— Тогда деревня наша очутилась в большой беде. Мы очень боялись, что придется много платить племени белого человека, и спрятали одеяла, и меха, и все наше имущество, как будто

мы бедные люди и не можем много платить. Прошло много времени, и пришли белые люди. Это были солдаты, они взяли Ямикана с собою. Его мать громко кричала и сыпала себе пепел на голову. Она знала, что Ямикан умер, и вся деревня это знала и радовалась, что не нужно платить.

— Это было весной, когда лед сошел с реки. Один год проходит, два года проходят. Снова вернулась весна, и снова лед сошел с реки. И тогда Ямикан, который умер, вернулся к нам. Он был жив и очень растолстел, и мы узнаем, что он спал словно белый человек. Он стал мудрым и скоро сделался первым человеком деревни.

— И он рассказал странные вещи про белых людей, о том, как он долго был с ними и совершил большое путешествие в их страну. Сперва белые солдаты везли его долгое время вниз по реке. Всю дорогу, до конца реки, везли они его, до того, где река впадает в большое озеро, — больше, чем земля, и широкое, как небо. Я не знал, что Юкон такая большая река, но Ямикан видел своими глазами. Я не думаю, что есть озеро больше, чем земля, и широкое, как небо; но Ямикан его видел. Он говорил также, что вода в озере соленая. Это удивительно и непонятно.

— Но белый человек, наверное, сам знает про все эти чудеса, и я не буду утомлять его рассказом о них. Я только расскажу ему то, что случилось с Ямиканом. Белые люди очень хорошо кормили Ямикана. Ямикан все время ест, и все время дают ему пищу. Белый человек живет в стране под солнцем, рассказывает Ямикан, где много тепла и на зверях только волосы, а не мех. И растут большие зеленые растения, и становятся они мукой, бобами и картофелем. И там, под солнцем, никогда не бывает голода. Там всегда много пищи. Я про это не знаю. Так говорил Ямикан.

— И странно то, что случилось с Ямиканом. Ни один белый человек не сделал ему зла. Они дали ему теплую постель на ночь и много хорошей пищи. Они повезли его через Соленое озеро, величиной с небо. Он ехал на огненной лодке белых, которую вы называете пароходом. Только лодка эта в двадцать раз больше, чем пароход на Юконе. Лодка эта сделана из железа — и все-таки не тонет. Я этого не понимаю, но Ямикан сказал: «Я ехал на железной лодке, и смотри — я все еще жив». Это была военная лодка белых людей, и на ней было много белых солдат.

— Долго они плыли, и наконец Ямикан приехал в страну, где нет снега. Я не могу поверить этому. Не может же быть, чтобы зимою не было снега. Но Ямикан видел. Я спрашивал и белых людей, и они сказали: «Да, в этой стране нет снега!» Но я не могу поверить и спрашиваю тебя — бывает ли когда-нибудь снег в этой стране? И я хотел бы узнать, как зовут эту страну. Я уже слышал ее имя, но хотел бы снова его услышать. Так я узнаю, правда то была или ложь.

Старый Эббитс посмотрел на меня вопросительно. Он хотел знать правду во что бы то ни стало. Он добивался правды, хотя ему и хотелось сохранить веру в чудо.

— Да, — ответил я. — Ты слышал истину. В этой стране нет снега, и она называется Калифорния.

— Ка-ли-фор-ни-я-я, — пробормотал он два или три раза, внимательно прислушиваясь к каждому слогу. Он кивнул головой в знак подтверждения. — Да, это та самая страна, о которой говорил Ямикан.

Я догадался, что случай с Ямиканом мог легко произойти в те дни, когда Аляска только-только перешла к Соединенным Штатам. За такое убийство в те времена, когда не было еще территориального закона и должностных лиц, могли судить в Соединенных Штатах — в Федеральном суде.

— Когда Ямикан прибыл в эту страну, где нет снега, — продолжал старый Эббитс, — его повели в большой дом. Там было много людей. Они долго разговаривали и ставили много вопросов Ямикану. Затем они заявили Ямикану, что ему не будут больше делать плохого. Ямикан не понимал, так как ему вообще не делали плохого. Они все время давали ему теплую постель и много еды.

— Но после этого они дали ему еще лучшую пищу, дали ему денег и повели его в разные места в стране белых людей. Там он видел много чудес, которых не понять Эббитсу, — ведь он старик и никогда далеко не ездил. Через два года Ямикан вернулся в эту деревню и был в ней первым человеком и был мудрым, пока не умер.

— Но прежде чем он умер, он часто сидел у моего костра и рассказывал про странные вещи, какие он видел, и мой сын Бидаршик сидел также у огня и слушал.

— Раз ночью, после ухода Ямикана, Бидаршик встает во весь рост и, ударив себя в грудь кулаком, говорит: «Когда я буду мужчиной, я поеду в далекие места, в эту землю, где нет снега, и увижу все это собственными глазами».

— Бидаршик всегда путешествовал по далеким местам, — прервала его Зилла с гордостью.

— Это правда, — с серьезным видом согласился Эббитс. — И он всегда возвращался, чтобы сидеть у костра и мечтать о других, еще более неизвестных, далеких местах.

— Он всегда помнил Соленое озеро величиной с небо и страну под солнцем, где нет снега, — вставила Зилла.

— И он всегда говорил: «Когда у меня будет сила взрослого мужчины, я пойду сам, чтобы убедиться в правде рассказов Ямикана», — сказал Эббитс.

— Но не было способа дойти до земли белых людей, — сказала Зилла.

— А разве не дошел он до Соленого озера величиной с небо? — спросил Эббитс.

— Но не было способа перейти через Соленое озеро, — ответила Зилла.

— Кроме как на железном пароходе белых людей, большем, чем двадцать пароходов на Юконе, — продолжал Эббитс и, нахмурившись, посмотрел на Зиллу, пытавшуюся снова что-то сказать, и заставил ее замолкнуть. — Но белые люди не позволили ему переехать Соленое озеро на пароходе, и он вернулся домой и продолжал сидеть у костра и по-прежнему томился тоской по стране под солнцем, где совсем нет снега.

— Но все же на Соленом озере он видел железный пароход, который не тонет, — не удержалась Зилла.

— Да, — сказал Эббитс. — И он увидел, что Ямикан рассказал правду. Не мог никак Бидаршик поехать в страну белых людей под солнцем, и он заболел и сделался дряхлым, как старик, и не уходил от костра.

— И он не касался больше мяса, поставленного перед ним, — заметила Зилла, — он качал головой и говорил: «Я хочу есть только пищу белых людей и растолстеть, как Ямикан».

— Да, он не ел мяса, — продолжал Эббитс. — И болезнь его становилась все сильнее и сильнее, и я боялся, чтобы он не умер. Это не тело его болело, а голова. Я, Эббитс, его отец, стал раздумывать. У меня нет больше сыновей, и я не хочу, чтобы Бидаршик умер. Это болит у него голова, и есть одно только средство вылечить ее. Бидаршик должен поехать через озеро величиной с небо в ту землю, где нет снега. Иначе он умрет. Я очень много думал и наконец придумал, как Бидаршику туда отправиться.

— И вот, однажды вечером, когда он сидел у костра в унынии, с опущенной головой, я сказал: «Мой сын, я уже знаю, как тебе можно отправиться в землю белых людей!» Он посмотрел на меня с радостным лицом. «Поезжай, — сказал я, — так же, как поехал Ямикан!» Но Бидаршик не понимает и снова уныл. «Пойди, — говорю я ему, — найди белого человека и так же, как Ямикан, убей его! Тогда придут белые солдаты и возьмут тебя, как они взяли Ямикана, и повезут тебя через Соленое озеро на землю белых людей. И так же, как Ямикан, ты вернешься очень толстый, мудрый и с глазами, полными удивительных вещей, какие ты там увидел».

— И Бидаршик быстро поднялся и протянул руку за ружьем. «Куда идешь?» — спросил я. «Я иду убить белого человека», — сказал он. И я увидел, что слова мои достигли ушей

Бидаршика и что он наконец выздоровеет. Также знал я, что слова мои были хороши и разумны.

— В это время в деревне находился белый человек. Он не искал золота в земле или мехов в лесу. Он все время искал букашек и мух. Почему он искал букашек и мух, раз он их не ел? Я не знаю. Я знаю только, что это был забавный белый человек. И он искал также птичьи яйца, но не ел этих яиц. Он вынимал все, что было внутри, и сохранял только одну скорлупу. Но скорлупу нельзя есть. И он не ел скорлупы, но клал ее в мягкие коробки, чтобы она не разбилась. Он ловил много маленьких птиц. Но он не ел и птиц. Он брал их кожу и клал в коробки. Любил он также и кости. Костей не едят. Этот странный человек больше всего любил очень старые кости, которые он выкапывал из земли.

— Но он был не свирепый белый человек, и я знал, что он умрет очень спокойно. Поэтому я сказал Бидаршику: «Мой сын, вот белый человек, которого ты можешь убить!» — Бидаршик же ответил, что мои слова мудры. Он пошел к месту, где были кости в земле. Он вырыл много таких костей и принес их в палатку странного белого человека. Белый человек был очень рад. Его лицо сияло, как солнце, и он улыбался, радостно глядя на кости. Она наклонился, чтобы хорошо их осмотреть, и в это время Бидаршик сильно ударил его топором по голове — р-раз! — и странный человек задергал ногами и умер. «Теперь, — сказал я Бидаршику, — придут белые солдаты и увезут тебя на землю под солнцем, где не бывает снега. Там ты будешь много есть и растолстеешь». И Бидаршик был счастлив. Его болезнь уже оставила его, и он сидел у костра и ждал прихода белых солдат.

— Как мог я знать, что белые люди поступят по-разному? — спросил старик, с яростью поворачиваясь ко мне. — Как мог я знать о том, что белый человек сегодня поступает не так, как вчера; а завтра не так, как сегодня? — Эббитс грустно наклонил голову. — Невозможно понять белого человека. Вчера он увез Ямикана в страну под солнцем и кормил его до отвала хорошей пищей. Сегодня он берет Бидаршика; и что же он с ним делает? Позволь мне рассказать тебе, что он делает с Бидаршиком. Я, отец его, Эббитс, расскажу тебе. Он берет Бидаршика в форт Кэмбел и обвязывает веревку вокруг его шеи. И когда ноги его уже не касаются земли — Бидаршик умирает!

— А-а-а, — плакала Зилла. — И никогда не перешел он озера величиной с небо и не увидел земли под солнцем, где не бывает снега.

— И потому, — продолжал Эббитс с достоинством, — нет никого, кто бы охотился за мясом для меня, когда я стал стар. И я сижу голодный у моего костра и рассказываю это все белому человеку, который дал мне еду и крепкий чай и табак для моей трубки.

— Это все из-за лживого и дурного белого племени, — объявила Зилла.

— Нет, — ответил старик тихо, но твердо. — Это все из-за того, что белый человек поступает всегда по-разному и понять его нельзя.



# ИСТОРИЯ КИША

Давно-давно, в незапамятное время жил некто Киш у берегов Полярного моря. Был он первым человеком в своей деревне и умер, всеми оплакиваемый. Он жил так давно, что только старики помнят его имя и историю его жизни — историю, какую они слышали от отцов и дедов. Они расскажут ее своим детям, а потом она перейдет к детям их детей, и так из века в век. А слушать эту повесть о Кише — о том, как он поднялся к власти и почему из самой бедной хижины в деревне, — лучше всего тогда, когда проносятся над ледяными полями северные метели, когда в воздухе кружатся снежные вихри и ни один человек не смеет высунуться из дома.

Живым мальчиком был Киш, так начинается повесть, — здоровым и сильным. Он видел тринадцать солнц — так считали в деревне. Ибо каждую зиму солнце оставляет землю в темноте, а на будущий год новое солнце возвращается, чтобы снова давать тепло и освещать лица людей. Отец Киша был смелым охотником. Пытаясь в голодное время спасти жизнь своих одноплеменников, он погиб, охотясь на полярного медведя. Он вступил с медведем в рукопашную, и тот смял его под себя. Зверь был очень жирный, и народ был спасен.

Киш — он был единственным сыном этого охотника — остался один со своей матерью; но люди забывчивы, и скоро из памяти их изгладился подвиг его отца. А затем забыли и Киша с матерью, и они вынуждены были жить нищенски и в жалкой хижине.

Но вот однажды вечером, на Совете в большой хижине Клош-Квана, главы племени, Киш показал, какая кровь течет в его жилах. Он показал себя мужчиной. С достоинством взрослого человека он поднялся и ждал, когда прекратится шум.

— Это верно, что нам выдается наша доля мяса, — сказал он. — Но мясо это старое и жесткое, и в нем много костей.

Охотники — и седовласые и молодые — были изумлены. Ничего подобного раньше не случалось. Ребенок выступал как взрослый человек и говорил им прямо в лицо такие вещи!

Но Киш продолжал говорить твердо и серьезно:

— Я говорю это, потому что знаю, что мой отец, Бок, был великим охотником. Говорят, что Бок приносил домой больше мяса, чем любой из охотников, и собственными руками распределял его и смотрел, чтобы последний старик и старуха получили справедливую долю.

Охотники кричали:

— Прогоните ребенка! Пошлите его спать. Не смеет он так разговаривать с мужчинами и стариками!..

Он спокойно ждал, пока волнение улеглось.

— У тебя жена, Уг-Глук, — сказал он, — и ты за нее говоришь. А ты, Массук, имеешь также мать — и выступаешь за обоих. Моя же мать никого не имеет, кроме меня. Вот почему я за нее и вступаюсь. Я повторяю: Бок умер, так как был слишком храбр. И потому справедливо, чтобы я — его сын — и Айкига — моя мать и его жена — не терпели нужды в мясе, пока оно имеется у племени. Я, Киш, сын Бока, сказал.

Он сел, внимательно прислушиваясь к возмущенным возгласам, вызванным его словами.

— Мальчишка смеет так говорить на Совете! — шамкал старый Уг-Глук.

— Могут ли сосунцы нас учить? — спросил громко Массук. — Я — мужчина, и могу ли я быть посмешищем для каждого мальчишки, который просит мяса.

Гнев их дошел до белого каления. Они приказали ему идти спать; пригрозили, что он вовсе будет лишен мяса, и обещали крепко высечь за дерзость. Глаза Киша засверкали, и темный румянец залил его щеки. Он вскочил на ноги.

— Слушайте меня! — крикнул он. — Никогда больше не буду я выступать на Совете, никогда, пока вы сами не придете ко мне и не будете упрасивать: «Киш, говори! Мы хотим этого!» Так вот вам мое последнее слово. Бок, мой отец был великим охотником. Я — его сын — пойду и стану также охотиться, чтобы добыть себе мяса. И пусть знают все: раздел того, что я убью, будет справедлив. И ни вдова, ни слабый старик не будут плакать ночью от голода, в то время как сильные мужчины стонут в великих муках обжорства. И в будущем да будет стыдно сильным мужчинам, которые объедаются! Так сказал я, Киш.

Насмешки и бранные возгласы проводили его до порога хижины. Но на его лице была написана решительность, и он шел вперед, не глядя по сторонам.

На следующий день он пошел вдоль берега. Заметили, что он несет лук и большой запас стрел с костяными наконечниками. Через плечо было перекинута отцовское охотничье копье. Много смеялись и говорили по этому поводу. Случай был из ряда вон выходящий. Мальчики в этом возрасте никогда не отправлялись охотиться, в особенности одни. Многие поэтому качали головами и делали зловещие предсказания, а женщины с сожалением глядели на Айкигу, лицо которой стало грустным и серьезным.

— Он скоро вернется, — утешали они ее.

— Пусть идет, — говорили охотники. — Это будет для него хорошим уроком. Он скоро вернется, и тогда речь его будет другой — робкой и вежливой.

Но прошел день, а за ним другой. На третий разразилась сильная буря, а Киш все не появлялся. Айкига рвала на себе волосы и покрывала лицо сажей, в знак горя и скорби. Женщины осыпали мужчин упреками за то, что они своим дурным обращением послали мальчика на смерть. Мужчины ничего не отвечали, готовясь, когда буря утихнет, идти в поиски за телом.

Но на следующий день, ранним утром, Киш вернулся в деревню. И шел он, далеко не смущенный. Он нес на плечах свежее мясо убитого зверя, и поступь его была торжественна, а слова звучали гордо.

— Вы, мужчины, идите с собаками и санями по моему следу, — сказал он. — Там, через день пути, вы найдете на льду много мяса — медведицу и двух полугодовалых медвежат.

Айкига была несказанно обрадована, но он встретил ее радость по-мужски.

— Идем, Айкига, дай мне есть. И потом я лягу спать. Я очень устал.

Он прошел в хижину и, поев, заснул. Спал он двадцать часов подряд.

Сперва в деревне было много сомнений и споров. Опасно убить медведя, но трижды — нет, в три раза трижды — опасней убить медведицу с медвежатами. Мужчины поверить не могли, что мальчик Киш, один, совершил такой подвиг. Но женщины рассказывали про свежее мясо, которое он принес на спине, и это должно было убедить сомневающихся. Наконец они пустились в путь. «Даже если он действительно убил этих зверей, — ворчали они, — то уж во всяком случае не позаботился разрезать туши». А на Севере это необходимо сделать немедленно; в противном случае — мясо замерзнет так, что его не берет самый острый нож. Положить же на сани трехсотфунтового медведя в замерзшем состоянии и везти его по неровному льду — не легкое дело. Но, придя на место, они, вопреки своим сомнениям, нашли добычу и увидели также, что Киш вынул внутренности и разрезал туши на четыре части как образцовый охотник.

С той поры Киш повел себя загадочно, и загадочность эта день ото дня становилась все таинственней. Во вторую свою охоту он убил молодого медведя — почти взрослого; а в следующий раз — громадного самца и медведицу. Он обычно уходил на три или четыре дня, но иногда оставался на льду целую неделю. Он всегда отказывался от спутников, и все не переставали изумляться.

— Как он это делает? — спрашивали они друг друга. — Он никогда не берет с собой собак,

а собака на охоте очень нужна...

— Почему ты охотишься только на медведя? — однажды решил спросить его Клош-Кван. Но Киш дал ему надлежащий ответ:

— Всем известно, что на медведе больше мяса.

В деревне поговаривали о волшебстве.

— Он охотится вместе со злыми духами, поэтому-то охота всегда удачна.

— Может быть, это не злые, а добрые духи? — говорили другие. — Отец его был великим охотником. Может быть, с ним охотится отец и обучает его пониманию, терпению и другим качествам охотника. Кто знает?

Так или иначе, но его успехи продолжались, и менее удачливые охотники были постоянно заняты доставкой его добычи. Что же касается раздела добычи — в этом он всегда был справедлив. Подобно отцу своему, он следил за тем, чтобы последний старик и старуха получили равную со всеми долю. Себе же он оставлял ровно столько, чтобы удовлетворить свои потребности. Вот поэтому, а также и потому, что он был охотником смелым и сильным, Киш стал пользоваться почетом и даже внушать своим соплеменникам страх. Шли разговоры о назначении его главой племени после Клош-Квана. Ввиду же совершенных им подвигов современники хотели видеть его снова на заседаниях Совета; но он там не появлялся, а им совестно было просить.

— Я хочу построить себе новую хижину, — сказал однажды Киш Клош-Квану и кое-кому из охотников. — Мне нужна большая иглоо<sup>[5]</sup>, где Айкига и я смогли бы удобно расположиться.

— Хорошо, — кивали они головой в знак одобрения.

— Но у меня нет свободного времени. Мое занятие — охота, и оно отнимает все мое время. Будет справедливо, если мужчины и женщины, которых я кормлю, построят мне иглоо.

И хижина была выстроена, а размерами она превосходила даже иглоо Клош-Квана. Киш и его мать переехали в нее, и Айкига, впервые после смерти Бока, зажила в довольстве. Она не только была материально обеспечена, но, во внимание к ее удивительному сыну и положению, какое он ей создал, на нее все стали смотреть как на первую женщину в деревне. Женщины посещали ее, спрашивали ее советов и приводили ее изречения в спорах между собой и со своими мужьями.

Но загадочность чудесной охоты Киша не переставала всех занимать. А раз Уг-Глук даже бросил ему в лицо обвинение в волшебстве.

— Мы думаем, — сказал Уг-Глук многозначительно, — что ты имеешь дело со злыми духами и потому твоя охота удачна.

— Разве мясо нехорошее? — был ответ Киша. — Или кто-нибудь в деревне заболел, поевши его? Знаешь ли ты что-нибудь о моем волшебстве или же просто гадаешь из-за снедающей тебя зависти?

И Уг-Глук отошел посрамленный, а женщины смеялись ему вслед.

Но однажды вечером на Совете, после долгого обсуждения, решили проследить Киша, когда он отправится на охоту, чтобы научиться его способам охоты. Поэтому в следующую его экспедицию двое юношей — одни из лучших охотников — по имени Бим и Баун последовали за ним, стараясь идти так, чтобы он их не заметил. Через пять дней они вернулись с расширенными зрачками и языками, дрожащими от нетерпения рассказать то, что увидели. Наскоро был собран Совет в иглоо Клош-Квана, и Бим приступил к своему рассказу.

— Братья, — начал он, — как было нам приказано, мы шли по следу Киша, шли со всею осторожностью, так что он об этом не знал. В середине первого дня он встретил большого медведя-самца. Это был очень большой медведь.

— Больше не бывает, — поддержал Баун и продолжал рассказ. — Но медведь не хотел

драться и, повернувшись, стал уходить по льду. Мы видели это, спрятавшись за скалы на берегу. Медведь шел по направлению к нам, и за ним шел Киш, без всякого страха. Он кричал на медведя, ругал его крепкими словами и махал руками и производил большой шум. Тогда медведь рассердился, встал на дыбы и зарычал. Но Киш пошел прямо к медведю.

— Да, — продолжал Бим. — Киш прямо шел на медведя. Медведь бросился на него, и Киш побежал. Но, убегая, он уронил на лед маленький шарик. Медведь остановился, понюхал и затем проглотил шарик. Киш же продолжал бежать и ронять маленькие круглые шарики, и медведь продолжал их глотать.

Послышались недоверчивые возгласы, а Уг-Глук открыто заявил, что не верит.

— Мы это видели собственными глазами, — утверждал Бим.

— Да, собственными глазами, — продолжал Баун. — И это длилось, пока медведь вдруг не выпрямился и не стал громко реветь от боли и бешено колотить лапами. Киш же продолжал бежать от него, оставаясь все время на достаточном расстоянии. Но медведь его не замечал, так как сильно страдал от той боли, какую причинили его внутренностям маленькие шарики.

— Да, в его внутренностях была нестерпимая боль, — прервал Бим. — Он царапал себя и прыгал по льду, как игривый щенок; по тому, как он рычал и метался, было ясно, что это не игра. Никогда не видел я такого зрелища.

— Никогда не было такого зрелища, — повторял Баун, — и к тому же это был огромный медведь.

— Волшебство, — сказал Уг-Глук.

— Не знаю, — отвечал Баун. — Я рассказываю только то, что видели мои глаза. Спустя немного медведь ослабел и утомился, так как был очень тяжел и сильно скакал. Он пошел по береговому льду, качаясь из стороны в сторону, и временами садился и выл. А Киш шел за медведем, а мы за Кишем; и так в течение всего дня и трех других дней. Медведь ослабел и не переставал реветь от боли.

— Это волшебство, — вскричал Уг-Глук. — Несомненно, это волшебство.

— Может быть.

Бим сменил Бауна:

— Медведь блуждал, двигаясь то сюда, то туда, возвращаясь вперед и назад и кружась по своему следу, и в конце концов вернулся к тому месту, где Киш впервые его встретил. Теперь он был так слаб, что едва полз. Тогда Киш подошел к нему и копьём добил его до смерти.

— И тогда? — спросил Клош-Кван.

— Мы оставили Киша в то время, как он снимал с медведя шкуру, и прибежали, чтобы сообщить об этой охоте.

После полудня женщины притащили тушу медведя, а мужчины продолжали заседать в Совете. Когда Киш пришел, ему послали сказать чтобы он явился в Совет. Но он ответил, что устал и голоден, а хижина его достаточно велика, и в ней может поместиться много народу.

Любопытство было так сильно, что весь Совет, с Клош-Кваном во главе, отправился в иглоо Киша. Он ел, но встретил их с почетом и усадил их соответственно положению каждого. Айкига была горда и вместе с тем смущена, но Киш держался совершенно спокойно.

Клош-Кван рассказал про то, что сообщили Бим и Баун, и строго закончил:

— Киш, ты должен объяснить, как ты охотишься. Это волшебство?

Киш посмотрел на них и улыбнулся.

— Нет, Клош-Кван, — сказал он, — не мальчику заниматься чародейством. Я ничего не знаю о колдовстве. Я только придумал средство убивать медведя без труда, вот и все. Это ум, а не волшебство.

— И каждый может сделать то же самое?

— Да, каждый.

Молчали долго. Мужчины глядели друг на друга, а Киш продолжал есть.

— И... и... ты нам расскажешь, Киш? — спросил Клош-Кван дрожащим голосом.

— Да, я вам расскажу. — Киш кончил высасывать мозг из кости и встал на ноги. — Дело совсем простое. Смотри!

Он достал тонкий кусок китового уса и показал его. Концы были остры как иглы. Он свернул ус так, что тот исчез в его руке. Затем разжал ее, и ус с силой выпрямился. Потом он поднял кусок тюленьего жира.

— Вот так, — сказал он. — Ты берешь маленький кусок тюленьего жира и делаешь в нем отверстие. Туда всовываешь китовый ус, туго свернутый, и покрываешь другим куском жира. Затем ты выносишь его на воздух, где он замерзает и превращается в круглый шарик. Медведь проглатывает шарик; жир тает; китовый ус выпрямляется; медведь чувствует боль и начинает метаться взад и вперед. Когда ему делается очень плохо, ты убиваешь его копьем. Это совсем просто.

Уг-Глук сказал: «О!», а Клош-Кван протянул: «А!» — каждый сказал по-своему, и все поняли.

Такова история Киша, жившего давно у края Полярного моря. Не колдовство, а ум помог ему оставить самую жалкую хижину и стать первым человеком в своей деревне.

Рассказывают, что, пока он жил, племя его благоденствовало; и ни одна вдова, ни одно слабое существо не плакали ночью от голода.

Замечать то, что очевидно, и не совершать неожиданных поступков — дело простое. Жизнь каждого отдельного человека — понятие скорее статическое, чем динамическое <sup>[6]</sup>, и такая тенденция жизни индивида укрепляется и развивается цивилизацией. В последней преобладает обыденное, а необычайное случается редко. Когда же происходит неожиданное — а особенно, если оно значительно, — существа неприспособленные погибают. Они не видят того, что не является обычным; поступать непривычным образом они не способны и не могут приладить свою жизнь к другим, новым условиям. Жизнь таких людей течет как бы по определенному руслу и, достигнув его предела, они погибают.

И, наоборот, есть люди, способные выжить во всех условиях. Это те, кто умеет приспособляться, уйти из-под власти обыденщины и приноровить свою жизнь к любым необычным условиям, в каких, случайно или по принуждению, они могут очутиться. Такой была Эдит Уитлси. Она родилась в сельской местности в Англии, где жизнь подчиняется заранее установленным правилам и все необычайное настолько неожиданно, что представляется безнравственным. Она рано начала работать по найму и еще молодой женщиной поступила на должность горничной.

Цивилизация механизует и всю окружающую жизнь. То, что нежелательно, устраняется, а неизбежное всегда бывает заранее известно. Можно защитить себя и от дождя и от мороза. Смерть же, вместо того чтобы быть явлением страшным и случайным, принимает характер заранее установленной церемонии, продвигая свои жертвы, словно по хорошо убитой колее, к семейному склепу. Металлические части последнего тщательно очищаются от ржавчины, и пыль вокруг заботливо сметается.

Такова была обстановка, окружавшая Эдит Уитлси. Событий не было. Едва ли можно было счесть событием ее поездку. Ей было тогда двадцать пять лет, и ехала она, сопровождая свою хозяйку, в Соединенные Штаты. Но это было просто изменением направления колеи — не больше, а колея все же оставалась и была по-прежнему хорошо укатана. Атлантический океан не имел возможности проявить себя каким-нибудь неожиданным образом, и пароход, на котором совершалось путешествие, был не судном, брошенным в морские просторы, а громадным удобным отелем. Благодаря огромным размерам парохода, ехали быстро и спокойно — океан словно превратился в тихий пруд. А там, при выходе на берег, опять ждала их хорошо укатанная колея, приводящая в пути к отелям на колесах, а на остановках — к комфортабельным гостиницам.

По приезде в Чикаго, в то время как ее хозяйке раскрывалась одна сторона жизни, Эдит Уитлси узнавала другие ее стороны. И когда, наконец, она покинула свою службу и превратилась в Эдит Нелсон, она стала обнаруживать — правда, в слабой еще степени — свою способность бороться с необычайными явлениями жизни и выходить из борьбы победительницей. Ганс Нелсон, ее муж, швед по происхождению, был эмигрантом. По профессии он был столяр. Он проявлял то беспокойство тевтонской расы, которое гонит ее на запад в поисках приключений. Это был крепкий мужчина с сильно развитыми мускулами; воображение у него было небольшое, но зато он обладал громадной инициативой. Был он честен и верен, и эти два качества были столь же ярко выражены, сколь и его огромная физическая сила.

— Когда я хорошенько поработаю и сделаю кой-какие сбережения, я поеду в Колорадо, — сказал он Эдит на следующий день после свадьбы.

Год спустя они очутились в Колорадо, где Ганс Нелсон впервые познакомился с работой на

приискал и заболел горячкой золотоискателей. В погоне за золотом он проехал страну Дакоты, Айдахо и Восточный Орегон. Оттуда он пошел в горы Британской Колумбии. Эдит Нелсон все время была с ним — и в пути и на стоянках, — разделяя его удачу, его труды и лишения. Свои мелкие шажки женщины, воспитанной в городе, она променяла на уверенную походку горной жительницы. Она научилась смотреть в лицо опасности ясными глазами и с полным хладнокровием. Она перестала ощущать паническую боязнь, воспитанную незнанием и овладевающую в известные минуты городскими жителями. Боязнь эта делает людей столь же неразумными, как неразумны животные, которые, оцепенев от ужаса, ждут удара судьбы, вместо того чтобы бороться, либо спасаются бегством в слепом страхе.

Эдит Нелсон сталкивалась с неожиданностями на каждом шагу трудного пути золотоискателя. Она воспитала свое зрение так, чтобы видеть в окружающем не только то, что представляется, но также и то, что скрыто от поверхностного взгляда. Раньше она не имела понятия об искусстве готовить пищу и, несмотря на это, научилась делать хлеб без дрожжей и хмеля и умела печь его на сковороде над костром. Когда же исчезала последняя горсть муки и последний ломтик свиного сала, она оставалась на высоте положения и умела из мягких кусков кожи мокасинов или дорожного мешка приготовить какое-то подобие пищи, годной, пожалуй, для того, чтобы обмануть желудок голодающего путника и поддержать его неровные шаги. Она научилась самому трудному искусству, недоступному для городского жителя, — искусству навьючивать лошадь и справлялась с любой поклажей. В проливной дождь она могла разжечь огонь из сырых поленьев и сохранить хорошее расположение духа. Короче, она с честью выходила из всех неожиданных положений. Но подлинное неожиданное было для нее еще впереди — ей предстояло еще большое и решительное испытание.

Поток золотоискателей двигался в северном направлении. Ганс Нелсон и его жена были захвачены этим течением и увлечены в Клондайк. Конец 1897 года застал их в Дайе, но они не имели еще достаточно средств, чтобы приобрести нужное снаряжение и провезти его через Чилкутский проход, а затем водою в Доусон. Поэтому Ганс Нелсон целую зиму работал плотником по сооружению городка золотоискателей в Скагуэе. Все это время в его душе звучал волнующий призыв Аляски. Больше всего привлекал его Латуйский залив. Наконец летом 1898 года он очутился вместе с женою в пути вдоль изломанной береговой линии. Они плыли в больших сивашских челнах. С ними было трое индейцев и трое других золотоискателей. Индейцы высадили их, вместе со снаряжением и запасами, в пустынной местности, приблизительно в ста милях за Латуйским заливом, и вернулись в Скагуэй; трое золотоискателей остались, ибо все вместе они составляли организованную партию. Каждый из них вложил долю в покупку снаряжения, и добычу предполагалось разделить поровну. А так как Эдит Нелсон приняла на себя приготовление пищи для всей партии, то ей также полагалась мужская доля добычи.

Прежде всего были срублены ели, и из них построили хижину в три комнаты. На Эдит было возложено ведение хозяйства. Искать золото — такова была задача мужчин. Правда, крупной добычи здесь не было. Долгие часы упорной работы давали каждому из участников в среднем от пятнадцати до двадцати долларов в день. Короткое аляскинское лето длилось в этом году дольше, чем обычно, и они пользовались этим, откладывая свое возвращение в Скагуэй до последней минуты. И в конце концов они опоздали. Предполагалось отправиться вместе с местными индейцами во время их — последней в этом году — торговой поездки на лодках к берегу моря. Индейцы-сиваши ждали белых людей до последней возможности и затем отправились одни.

Теперь для партии золотоискателей оставалось ждать какой-нибудь оказии. Они занялись поэтому очисткой своего участка и заготовкой дров для предстоящих холодов.

Все еще не кончалось индейское лето, а затем внезапно, как бы по трубному сигналу, наступила зима. Она пришла сразу — в одну ночь, — и золотоискатели, проснувшись утром, увидели снежную, ревущую метель. Неистовый ветер дул порывами, и изредка наступала тишина, нарушаемая только плеском волн на пустынном берегу, где соленые брызги ложились на песке точно зимний снег.

В хижине все было благополучно. Золота добыли приблизительно на восемь тысяч долларов, и это не могло не давать им удовлетворения. Мужчины соорудили себе лыжи, ходили на охоту и добывали свежее мясо для стола. А долгие вечера они проводили за бесконечной игрой в вист и в педро. И так как работа по добыванию золота кончилась, то Эдит Нелсон передала мужчинам заботу о топке печей и мытье посуды и занялась штопаньем их носков и починкой платья.

Не было ни недовольства, ни ссор в маленькой хижине, и обитатели ее часто выражали свою радость по поводу счастливой совместной жизни. Ганс Нелсон отличался добродушием. Он безгранично восхищался способностью Эдит ладить с людьми. Харки, длинный и худой американец из Техаса, был очень миролюбив, несмотря на свою природную угрюмость. Он был прекрасным товарищем, если только не возражали против его любимой теории, что золото обладает способностью расти. Четвертый член компании, Майкл Деннин, оживлял общество своим ирландским остроумием. Это был большой человек, могучего сложения, вспыльчивый из-за пустяков, но способный переносить большие невзгоды с неизменно веселым расположением духа. Пятый и последний участник, Дэтчи, веселил всю компанию. Для поддержания общего веселья он даже не прочь был самого себя выставить в смешном виде. Казалось, что он поставил целью своей жизни вызывать смех. Итак, ни одна серьезная ссора не омрачала спокойствия обитателей хижины; теперь, когда каждый из участников заработал в течение короткой летней работы тысячу шестьсот долларов, казалось, все они должны были быть довольны и миролюбиво настроены.

И вот тогда-то и случилось неожиданное. Они только что уселись за стол для утреннего завтрака. И хотя было уже восемь часов — завтракали утром поздно, так как работа прекратилась, — свеча, воткнутая в бутылку, еще освещала стол. Эдит и Ганс сидели на двух концах стола. С одной стороны, спиной к двери, помещались Харки и Дэтчи. Место с другой стороны оставалось незанятым. Деннина не было.

Ганс Нелсон посмотрел на пустое место, медленно покачал головой и произнес с потугами на остроумие:

— Он всегда первый за столом. Это странно. Может быть, он болен?

— Где Майкл? — спросила Эдит.

— Он встал немного раньше нас и вышел, — ответил Харки.

Лицо Дэтчи сияло лукавой улыбкой. Он сделал вид, что знает причину отсутствия Деннина, и принял таинственный вид, в то время как его товарищи продолжали удивляться. Ганс посмотрел на Эдит, и она покачала головой.

— Он никогда раньше не опаздывал к столу, — заметила она.

— Ничего не понимаю, — сказал Ганс. — У него всегда был лошадиный аппетит.

— Очень жалко, — сказал Дэтчи, грустно кивнув.

Они стали шутить по поводу отсутствия товарища.

— Почему жалко? — спросили они хором.

— Бедный Майкл, — был печальный ответ.

— Разве что-нибудь случилось? — спросил Харки.

— Он уже не голоден, — простонал Дэтчи. — Он потерял аппетит. Эта еда ему больше не нравится.



— Что-то незаметно, когда он с головой уходит в тарелку, — заметил Харки.

— Он это делает исключительно из вежливости по отношению к миссис Нелсон, — живо возразил Дэтчи, — я знаю, я знаю, и мне его очень жалко. Почему его здесь нет? Потому что он вышел. Почему он вышел? Для того, чтобы нагулять себе аппетит. Чем он нагуливает себе аппетит? Тем, что ходит босиком по снегу. Разве я не знаю? Богатые люди всегда таким образом гонятся за своим аппетитом, в то время как он от них убегает. У Майкла тысяча шестьсот долларов. Он богатый человек. Он потерял аппетит. Поэтому он за ним гонится. Откройте дверь, и вы увидите его, идущего босиком по снегу. В этом вся его беда. Но когда он увидит свой аппетит — он его поймает и придет завтракать.

Всеобщий громкий смех встретил болтовню Дэтчи. Звуки его еще не замерли, когда вошел Деннин. Все обернулись, чтобы посмотреть на него. В руках у него было охотничье ружье. Внезапно он прицелился и выстрелил два раза. После первого выстрела Дэтчи тяжело опустился на стол, опрокидывая чашку с кофе. Головой он попал в тарелку и поднял ее почти под прямым углом. Харки вскочил на ноги при звуке второго выстрела и упал лицом на пол, с криком: «Боже!», замирающим в его хрипящем горле.

Так разразилось неожиданное. Ганс и Эдит остолбенели. Они сидели за столом, напряженные, с глазами, пригвожденными к убийце. Смутно видели они его сквозь пороховой дым, и в тишине ничего не было слышно, кроме капанья пролитого на пол кофе Дэтчи. Деннин открыл затвор ружья, выбрасывая пустые патроны. Держа ружье одной рукой, он сунул другую в карман, чтобы достать свежие заряды.

Он всовывал патроны в ружье, когда Эдит поняла, что надо действовать.

Было очевидно, что теперь он намерен убить Ганса и ее. Три секунды она была совершенно парализована, ошеломленная непредвиденной формой, в которой ворвалось к ним Неожиданное. Затем она пришла в себя и начала бороться за жизнь Ганса и свою. Это действительно была борьба, ибо она прыгнула, подобно кошке, на убийцу и вцепилась в его воротник обеими руками. Он пошатнулся и пытался отбросить ее и удержать в руках ружье. Но это было трудно, так как ее крепкое тело приобрело кошачью силу и ловкость. Она всем корпусом откинулась назад и, цепляясь за его горло, чуть не повалила его на пол. Он выпрямился и быстро повернулся, увлекая ее за собой; ноги ее отделились от пола, но она не разжала рук, вцепившихся в воротник. Не рассчитав движения, он наткнулся на стул и грохнулся вместе в женщиной на пол.

Ганс Нелсон реагировал на полсекунды позже жены. Его нервные и умственные процессы протекали несколько медленнее, чем ее. Его организм был грубее, и понадобилось на полсекунды больше для того, чтобы он понял, решил и приступил к действию. Она уже налетела на Деннина и схватила его за горло, когда Ганс вскочил на ноги. Но он не обладал ее хладнокровием и не владел собой от бешенства. Вскочив со стула, он издал какой-то странный звук — не то заревел, не то зарычал. И затем бросился к Эдит и Деннину. Он настиг их, когда они упали на пол, обрушил свои кулаки на распростертого человека. Удары были жестокие — словно удары молотом, и скоро Эдит почувствовала, что тело Деннина слабеет и перестает двигаться. Тогда она отпустила его воротник и слегка отодвинулась. Она лежала на полу, тяжело дыша и широко раскрыв глаза. Страшные удары все еще сыпались на лежащего убийцу. Деннин как будто их не замечал. Он не двигался. Тогда она сообразила, что он потерял сознание. Она крикнула Гансу, чтобы тот остановился, — раз и второй. Но он ее не слышал. Тогда она схватила его за руку, но это только замедлило его удары, которые все еще продолжали сыпаться на Деннина.

Эдит пыталась удержать мужа отнюдь не сознательно. Говорило в ней не чувство жалости и не воспоминание религиозного запрета, гласящего: «Ты не должен». Скорей всего — смутное

чувство законности, этическое наследие ее расы и окружающей среды заставили ее встать между мужем и беспомощным убийцей. И только тогда, когда Ганс понял, что бьет свою жену, он перестал сыпать удары. Он позволил ей оттащить себя, приблизительно так, как рассерженная, но послушная собака позволяет своему хозяину себя отвести. Но ярость его еще не утихла и выражалась в каких-то нечленораздельных звуках, вырывающихся из его горла.

Все дальше и дальше отталкивала Эдит своего мужа. Она никогда еще не видала его в таком состоянии и теперь боялась его почти больше, чем Деннина в разгар их схватки. Она не могла поверить, что этот бешеный зверь — ее Ганс. Ей казалось, что он может вцепиться в ее руку зубами, подобно дикому зверю. В течение нескольких секунд, не желая делать ей больно, но упорно пытаясь продолжать избиение, Ганс тянулся к лежащему человеку. Но она решительно становилась между ними, пока к нему не вернулся первый проблеск рассудка и он не пришел в себя.

Оба стояли у тела Деннина. Ганс, пошатываясь, с судорожно искривленным лицом прислонился к стене. Наступила реакция. Ломая руки, Эдит стояла посреди хижины. Она тяжело дышала и тряслась всем телом.

Ганс уставился в одну точку, но глаза Эдит дико блуждали, изучая подробности того, что случилось.

Деннин лежал без движения. Опрокинутый стул, брошенный на пол во время отчаянной борьбы, лежал рядом с ним. Из-под тела убийцы виднелось ружье с приоткрытым замком. Из его правой руки выпали два патрона, которые он не успел вложить в затвор.

Харки лежал на полу, лицом вниз — там, где свалился. Детчи по-прежнему наклонялся над столом, а его желтые волосы были прикрыты наполовину тарелкой, все еще приподнятой под углом в девяносто градусов. Эдит не могла оторвать глаз от этой тарелки. Почему она не падала? Это было нелепо. Разве нормально, чтобы тарелка стояла на столе вертикально даже если при этом произошло убийство?

Она взглянула снова на Деннина, но ее глаза вернулись к приподнятой тарелке. Это было в самом деле нелепо. Ей хотелось истерически хохотать. Затем она ощутила жуть мертвой тишины, и ей остро захотелось, чтобы, что-нибудь случилось. Однообразное капанье кофе на пол только подчеркивало тишину. Почему Ганс ничего не делал? Почему он ничего не говорил? Она смотрела на него и пыталась что-то сказать, но язык отказывался повиноваться. У нее как-то особенно болело горло и во рту было сухо и терпко. Она могла только смотреть на Ганса, который, в свою очередь, смотрел на нее.

Вдруг острый металлический звон нарушил тишину. Она вскрикнула и бросила взгляд на стол. Тарелка упала. Ганс вздохнул, как будто просыпаясь после сна. Звон тарелки пробудил их к жизни в новом мире. Вся хижина очутилась в этом новом мире — отныне единственном для них существующем. Старая хижина исчезла навсегда. Жизнь стала новой и неведомой. Неожиданно окутало волшебной дымкой все, меняя перспективу, спутывая ценности, переплетая реальное с нереальным.

— Боже мой! Ганс! — были первые слова Эдит.

Он не ответил, но в ужасе глядел на нее. Его глаза медленно оцупали комнату, впервые схватывая все детали случившегося. Он надел шапку и направился к двери.

— Куда ты идешь? — спросила Эдит, охваченная страхом.

Его рука была на дверной ручке. Он повернулся вполоборота.

— Рыть могилы.

— Не оставляй меня, Ганс...

— Все равно придется рыть могилы, — сказал он.

— Но ты не знаешь, сколько нужно могил, — возразила она в отчаянии. Она заметила его

колебание и прибавила: — Я пойду с тобой и помогу.

Ганс вернулся к столу и машинально оправил свечу. Затем приступили к осмотру. Харки и Дэтчи — оба были мертвы, и благодаря тому, что стреляли с близкого расстояния, — вид их был ужасен.

Ганс отказался подойти к Деннину, и Эдит должна была одна осмотреть его.

— Он не умер! — крикнула она Гансу. Тот подошел и взглянул на убийцу. — Что ты сказал? — спросила Эдит, услышав нечленораздельные звуки.

— Я говорю: дьявольски жалко, что он не умер, — ответил он.

Эдит наклонилась над телом.

— Оставь его, — приказал Ганс резко: голос его звучал странно.

Она взглянула на него в внезапном страхе. Он поднял ружье, брошенное Деннином, и вкладывал в него патроны.

— Что ты хочешь сделать? — крикнула она, быстро приподнимаясь.

Ганс не ответил, но она увидела, что он прикладывает ружье к плечу. Она схватила дуло и отвела его.

— Оставь меня в покое! — крикнул он глухо.

Он пытался вырвать у нее ружье, но она подошла к мужу и обхватила его руками.

— Ганс, Ганс! Очнись! — кричала она. — Не будь сумасшедшим.

— Он убил Дэтчи и Харки! И я убью его!

— Но так нельзя. Есть закон.

Он выразил сомнение в реальной силе закона здесь — в этой глуши и продолжал твердить бесстрастно и упорно:

— Он убил Дэтчи и Харки.

Она долго убеждала, но он только повторял: «Он убил Дэтчи и Харки». В ней сказались ее воспитание и кровь. Она унаследовала сознание законности. Ей казалось невозможным оправдать новое убийство, как и преступление Деннина. Два нарушения закона не создадут права. Существует только один способ наказать Деннина: посредством легальных мер, установленных обществом. Наконец Ганс сдался.

— Хорошо, — сказал он. — Пусть будет по-твоему. Но завтра или послезавтра он убьет нас.

Она покачала головой и протянула руку, чтобы взять ружье. Он было хотел отдать его, но снова заколебался.

— Лучше позволь мне застрелить его, — молил он.

Опять она покачала головой, и опять он сделал движение, чтобы передать ей ружье. В это время дверь отворилась, и вошел индеец — без стука. Порыв ветра и снежный вихрь ворвались за ним в хижину... Они обернулись к нему лицом. Ганс все еще держал в руке ружье. Посетитель сразу, не вздрогнув, охватил всю сцену. И сразу увидел убитых и раненого. Он не выказал ни изумления, ни даже любопытства. Харки лежал у его ног. Но он не обратил на него ни малейшего внимания.

— Очень ветрено, — заметил индеец в виде приветствия. — Все хорошо. Очень хорошо.

Ганс, все еще держа в руках ружье, был уверен, что индеец считает его убийцей. Он посмотрел с немой мольбой на жену.

— Доброе утро, Негук, — сказала она, делая над собой страшное усилие. — Нет, не очень хорошо. Большая беда.

— До свидания, я теперь ухожу. Нужно спешить, — сказал индеец. Не торопясь, хладнокровно обойдя красную лужу на полу, он открыл дверь и вышел.

Мужчина и женщина посмотрели друг на друга.

— Он думает, что это сделали мы, — воскликнул Ганс, — что это сделал я!

Эдит молчала несколько секунд. Затем сказала кратко, деловым тоном:

— Безразлично, что он думает. Об этом после. Теперь мы должны копать могилы. Но прежде всего мы должны привязать Деннина так, чтобы он не убежал.

Ганс отказался дотронуться до Деннина, и Эдит связала крепко его руки и ноги. После этого они вышли. Почва замерзла и не поддавалась ударам лома. Они собрали дров, соскребли снег с поверхности земли и на мерзлом грунте зажгли костер. Целый час пылал он, прежде чем оттаяло небольшое пространство. Они вырыли яму и затем рядом разложили новый костер. Таким образом, яма увеличивалась медленно — на два-три дюйма в час.

Работа была тяжелая и невеселая. Снег мешал костру разгореться. Холодный ветер пронизывал их. Подавленные ужасом совершившейся трагедии, они почти не разговаривали — мешал ветер, — обмениваясь лишь возгласами удивления по поводу того, что могло привести Деннина к убийству. В час Ганс заявил, что он голоден.

— Нет, только не сейчас, Ганс. Я не могу вернуться в хижину — такую, какой она осталась, и готовить там обед.

В два часа Ганс предложил пойти вместе с ней. Но она побуждала его продолжать работу, и в четыре часа могилы были готовы.

Они были неглубоки — не больше двух футов глубиной, но этого было достаточно. Наступила ночь. Ганс достал санки, и трупы были доставлены к их морозным могилам. Похоронное шествие не имело парадного вида. Полозья глубоко врезывались в сугробы, и санки тащили с трудом. Оба — мужчина и женщина — ничего не ели со вчерашнего дня и ослабели от голода и усталости. Они не имели сил противостоять ветру, и его порывы чуть не валили их с ног. Несколько раз санки перевертывались, и они снова нагружали на них печальную поклажу. Последние сто футов до могил вели вверх по крутому склону, и здесь они двигались на четвереньках, подобно собакам, впряженным в сани. Хотя они и цеплялись руками за снег, но сани своей тяжестью дважды увлекали их назад; и дважды они скатились с горы все вместе — живые и мертвые.

— Завтра я поставлю столбы с их именами, — сказал Ганс, когда могилы были зарыты.

Эдит плакала навзрыд. Она произнесла несколько несвязных фраз — это заменяло надгробную службу, — и теперь муж должен был почти отнести ее обратно в хижину.

Деннин пришел в сознание и катался по полу, в тщетных попытках освободиться. Он смотрел на Ганса и Эдит блестящими глазами, но не пробовал заговорить. Ганс все еще отказывался дотронуться до убийцы и тупо глядел на Эдит, в то время как она тащила Деннина по полу в мужскую спальню. Но, несмотря на все ее усилия, она не могла поднять его с пола на лежанку.

— Позволь мне его застрелить, у нас не будет больше возни с ним, — наконец проговорил Ганс.

Эдит снова отрицательно покачала головой и продолжала свою работу. Вскоре Ганс одумался и помог ей. Затем они приступили к чистке кухни. Но с пола не исчезали следы трагедии, пока Ганс не сострогал поверхности досок. Стружки он сжег в печи.

Дни проходили и уходили. Вокруг обитателей хижины царил тьма и тишина, нарушаемая только метелями и шумом моря, разбивающегося о ледяной берег. Ганс послушно исполнял малейшие приказания Эдит. Вся его необыкновенная способность к инициативе вдруг исчезла. Она настояла на своем способе обращения с Деннином, и потому он предоставлял ведение дела всецело ей.

Убийца оставался для них постоянной угрозой. Во всякое время можно было ожидать, что он освободится от связывающих его веревок. Ввиду этого мужчина и женщина были вынуждены сторожить его днем и ночью. Один из них всегда сидел с ним рядом, держа в руках заряженное

ружье. Сперва они испробовали восьмичасовые дежурства, но напряжение было слишком велико, и впоследствии Эдит и Ганс сменяли друг друга каждые четыре часа. Но так как спать было надо, а дежурства продолжались и ночью — все время они тратили на то, чтобы сторожить Деннина, — они едва успевали готовить пищу и добывать дрова.

После несвоевременного посещения Негука индейцы избегали хижину. Эдит послала Ганса в их деревню просить увести Деннина в лодке до ближайшего поселка или торговой станции белых людей, но просьба эта встретила отказ. Эдит сама пошла, чтобы просить Негука. Он — старшина маленькой деревушки — был полон сознанием своей ответственности и в нескольких словах объяснил свою точку зрения.

— Это — беда белых людей, — сказал он, — не беда сивашей. Мы поможем, и тогда это станет бедой сивашей. Когда соединятся беда белого человека и беда сивашей, будет большая беда. Мои люди ничего не сделали плохого. Почему же им помогать и попасть в беду?

Итак, Эдит вернулась в страшную хижину с ее бесконечными перемежающимися четырехчасовыми сменами. Иногда, когда наступала ее очередь и она сидела рядом с Деннином с заряженным ружьем на коленях, ее глаза слипались, и она начинала дремать. Затем внезапно пробуждалась, хваталась за ружье и быстро оглядывала пленника. То были периодические нервные потрясения, и ничего хорошего они ей не сулили. Она так боялась этого человека, что даже в состоянии полного бодрствования — если только он двигался под одеялом — не могла удержаться от дрожи и быстро схватывала ружье.

Ей грозило нервное переутомление, и она это знала. Сперва она ощущала дрожь в глазах, заставлявшую ее закрывать веки, затем не могла уже справиться с нервным миганием век. Вдобавок, она никак не могла забыть происшедшую трагедию. Она ощущала весь ужас трагедии почти так же остро, как в то утро, когда Неожиданное ворвалось в их хижину.

Ганс был тоже подавлен, но по-иному. У него была навязчивая идея, что его долг — убить Деннина; и всегда, когда он что-нибудь делал для связанного человека или наблюдал за ним, Эдит боялась, что кровавый список жертв пополнится еще одним именем. Он постоянно яростно проклинал Деннина и обращался с ним очень резко. Ганс пытался скрыть свою жажду убить и иногда говорил жене: «Когда-нибудь ты захочешь, чтобы я его убил, а тогда я не смогу». Но не раз, входя украдкой в комнату в свободное от дежурства время, она находила обоих мужчин, обменивающихся свирепыми взглядами — подобно двум диким зверям. На лице Ганса было написано желание убить, на лице Деннина — ярость пойманной крысы. «Ганс! — кричала она в таких случаях. — Очнись!» — и он смущенно приходил в себя; однако лицо его совсем не выражало раскаяния.

Таким образом, Эдит, призванная разрешить проблему Неожиданного, должна была учитывать и состояние Ганса. Вначале эта задача сводилась к правильному поведению по отношению к Деннину; нужно было задержать его до передачи властям. Но теперь возникал вопрос о Гансе, и она видела, что умственное равновесие и спасение также были поставлены на карту. И вместе с тем она скоро обнаружила, что ее собственная сила сопротивления имеет пределы. Ее левая рука нервно подергивалась. Она расплескивала ложку с супом и не могла уже вполне рассчитывать на большую руку. Вероятно, думала она, это нечто вроде пляски святого Витта<sup>[7]</sup>; и боялась развития этой болезни. Что будет, если она не выдержит? И картина будущего — хижина с Деннином и Гансом и без нее — наполняла ее ужасом.

На четвертый день Деннин заговорил. Его первый вопрос был: «Что вы со мной сделаете?» И он повторял этот вопрос много раз в течение дня, и всегда Эдит отвечала, что с ним будет поступлено по закону. В свою очередь она ежедневно его допрашивала: «Почему вы это сделали?» На это он не давал ответа, а вопрос этот вызывал в нем припадок ярости. Он метался, пытаясь разорвать связывавшие его кожаные ремни, и угрожал ей расправой, — вот только он

освободится, а ведь это — рано или поздно — должно случиться. В такие минуты она взводила оба курка и готовилась встретить его свинцом, если ему удастся вырваться. При этом она все время была охвачена дрожью, и у нее кружилась голова от напряженности нервного возбуждения.

Но понемногу Деннин сделался более сговорчивым. Она увидела, что вечное пребывание в лежачем положении его сильно утомляет. Он стал умолять, чтобы его освободили. Он давал сумасшедшие обещания. Он не причинит им вреда. Он сам спустится по берегу и передаст себя властям. Свою часть золота он им отдаст и уйдет в дикую глушь, и никогда больше не появится перед лицом цивилизации. Он покончит самоубийством — только бы она его освободила. Его мольбы всегда кончались почти бессознательным бредом — казалось, что с ним делается припадок. В ответ она все же всегда качала головой и отказывала ему в свободе, которой он добивался с такой страстью.

Но недели шли, и он становился все более и более сговорчивым. И вместе с тем усталость его все больше и больше сказывалась. «Я так устал, я так устал», — шептал он, вертясь на лежанке, как капризный ребенок. Немного позже он стал выражать желание умереть, умоляя убить его, освободить от мучений, чтобы он мог наконец отдохнуть.

Положение становилось невозможным. Нервность Эдит возросла, и она знала, что катастрофа с ней может наступить в любой момент. Она не могла даже выспаться по-настоящему, так как ее преследовал страх, что Ганс поддастся своей мании и убьет Деннина во время ее сна. Хотя был уже январь, много месяцев должно было пройти раньше, чем какое-нибудь коммерческое судно могло заглянуть в бухту. А ко всему тому они стали ощущать недостаток пищи, так как не рассчитывали провести всю зиму в хижине. При этом Ганс не мог поддерживать запасы охотой. Они были прикреплены к хижине необходимостью сторожить пленника.

Надо было на что-нибудь решиться. Она это сознавала. Она заставила себя вновь продумать весь вопрос. Она не могла заглушить чувство законности, свойственное ей по крови и воспитанию. Она знала, что все, что она сделает, должно соответствовать этому инстинкту права. В долгие часы бдения, с ружьем на коленях, — рядом метался убийца, а за окном редела буря — она проделала самостоятельное социологическое исследование и выработала свою точку зрения на зарождение и эволюцию права. Ей пришло на ум, что право есть не что иное, как воля группы людей. Размеры группы не имеют значения. Есть маленькие группы, рассуждала она, как, например, Швейцария, и большие, как Соединенные Штаты. И совсем неважно, если группа очень мала. В стране могло быть всего десять тысяч человек, и тем не менее их коллективная воля будет правом этой страны. Но тогда почему тысяча человек не может составить группу? А если так, то почему не сто? Почему не пятьдесят? Почему не двое?..

Она испугалась собственного вывода и переговорила об этом с Гансом. Сперва он не понял. Когда же понял, то добавил еще кое-какие соображения, которые как будто разрешали вопрос. Он говорил о собраниях золотоискателей; на этих собраниях все обитатели той или иной местности соединялись, обсуждая законы, и приводили их в исполнение. Могло быть всего десять или пятнадцать человек, и тем не менее воля большинства становилась законом для всех десяти или пятнадцати человек, и всякий, кто нарушал эту волю, нес соответствующую кару.

Наконец Эдит все стало ясно. Деннин должен быть повешен. Ганс согласился с нею. Они составляли вдвоем большинство данной социальной группы. Воля этой группы была направлена к тому, чтобы Деннина повесили. Проявляя эту волю, Эдит усиленно старалась соблюдать установленные формы. Но группа была так мала, что Ганс и она одновременно должны были являться свидетелями, присяжными, судьями и исполнителями приговора. Она предъявила Деннину формальное обвинение в убийстве Дэтчи и Харки. Пленник лежал на своей лежанке и

слушал показания свидетелей — сперва Ганса, потом Эдит. Он отказался отвечать на вопрос о своей виновности или невиновности и молчал, когда она спросила его, имеет ли он что сказать в свое оправдание. Она и Ганс, не вставая с места, вынесли вердикт присяжных: да, виновен. Затем, уже как судья, она определила меру наказания. Ее голос дрожал, ее веки нервно мигали, ее левая рука судорожно дергалась, но она выполнила то, что было необходимо.

— Майкл Деннин, через три дня вы будете повешены.

Таков был приговор. У него вырвался как бы невольный вздох облегчения. Затем он засмеялся и сказал:

— Тогда, по крайней мере, эта проклятая лежанка не будет больше давить мне спину. Это все-таки утешение.

После произнесения приговора они все как будто почувствовали облегчение. Это в особенности было заметно в настроении Деннина. Вся его суровость и вызывающий тон исчезли. Он говорил вполне приветливо со своими тюремщиками и даже проявлял порывами старое свое остроумие. Он выражал большое удовлетворение, когда Эдит читала ему вслух Библию. Она читала выдержки из Нового Завета, и он особенно интересовался рассказами о блудном сыне и о разбойнике на кресте.

Накануне дня казни, когда Эдит поставила ему обычный вопрос: «Почему вы это сделали?» — Деннин ответил: «Очень просто. Я думал...»

Но Эдит прервала его, просила его подождать и поспешила к лежанке Ганса.

Это было время его отдыха после дежурства, и он проснулся, протирая глаза и ворча.

— Иди, — сказала она ему, — и приведи Негука и еще одного индейца. Майкл признается во всем. Заставь их прийти. Возьми ружье и, если нужно, приведи их силой.

Полчаса спустя Негук и его дядя Хэдикван вошли в комнату приговоренного. Они шли неохотно, понукаемые вооруженным Гансом.

— Негук, — сказала Эдит, — не будет никакой беды для тебя и твоего народа. Вы должны сесть и ничего не делать, только слушать и понимать.

Тогда Майкл Деннин, приговоренный к смерти, исповедался в своем преступлении. Пока он говорил, Эдит записывала его рассказ, в то время как индейцы слушали, а Ганс сторожил у двери, из боязни, что свидетели убегут.

Деннин объяснил, что он не был на родине в течение пятнадцати лет. В его намерение всегда входило вернуться с большой суммой денег домой и обеспечить свою старую мать в последние годы ее жизни.

— Как же мог я это сделать с тысячью шестьюстами долларов? — спросил он. — Мне нужно было все золото, все восемь тысяч. Тогда я мог вернуться в настоящем виде. Я подумал, что ничего не будет легче, как убить вас всех, донести в Скагуэй, что это сделали индейцы, и отправиться в Ирландию. Я и попробовал вас всех убить, но, согласно поговорке, я отрезал слишком большой кусок и не мог его проглотить. Вот мое признание. Я исполнил свой долг перед дьяволом, и теперь, если позволит Господь, я исполню свой долг перед Богом.

— Негук и Хэдикван, — обратилась Эдит к индейцам. — Вы слышали слова белого человека. Его слова здесь на бумаге, и вы должны на этой же бумаге поставить знаки, чтобы белые люди, которые потом придут, знали, что вы это слышали.

Индейцы поставили кресты против своих подписей и получили приглашение явиться на следующий день со всем своим племенем для засвидетельствования того, что должно произойти. После этого им позволили уйти. Ремни на руках Деннина были ослаблены, и он подписал документ. После этого в комнате наступило молчание. Гансу было не по себе, и Эдит тоже нервничала. Деннин лежал на спине и глядел вверх, на крышу с щелями, забитыми мхом.

— А теперь я исполню свой долг перед Богом, — шептал он. Он повернул голову по

направлению к Эдит.

— Прочтите мне, — продолжал он, — из книги. Может быть, — прибавил он полушутливо, — это поможет мне забыть про лежанку.

День казни выдался ясным и холодным. Термометр показывал 25 градусов ниже нуля. Холодный ветер пронизывал до костей. Впервые после многих недель Деннин стоял на ногах. Его мускулы так долго не работали, а он так давно не принимал стоячего положения, что едва мог стоять. Он качнулся вперед и назад, пошатнулся и схватил Эдит связанными руками, чтобы не упасть.

— У меня как будто кружится голова, — засмеялся он слабо.

Минуту спустя он сказал:

— И рад же я, что все это кончено. Эта проклятая лежанка меня все равно бы уморила.

Когда же Эдит надела ему на голову меховую шапку и начала натягивать на уши наушники, он засмеялся и сказал:

— Для чего вы это делаете?

— На улице мороз, — ответила она.

— Да, но через десять минут не безразлично ли будет бедному Майклу Деннину отморозить ухо? — спросил он.

Она напрягла все свои слабые силы для последнего испытания. Но его замечание нарушило ее самообладание. До сих пор все казалось призрачным — как бы сном, — а суровая правда его слов внезапно и мучительно открыла ей глаза на реальность того, что происходило.

Ирландец заметил ее отчаяние.

— Я жалею, что расстроил вас своим глупым разговором, — сказал он с сожалением. — Я не хотел ничего этим сказать. Это великий день для Майкла Деннина, и он весел, как жаворонок.

Он весело засвистел, но свист его скоро стал унылым и замер.

— Хотелось, чтобы был священник, — сказал он с грустью, а затем быстро добавил: — Но Майкл Деннин слишком привык к походу, чтобы нуждаться в роскоши, отправляясь в путь.

Он был так слаб, что, выйдя, чуть не упал от порыва ветра. Эдит и Ганс шли рядом с ним и поддерживали его с двух сторон. Все время он шутил и старался их приободрить. Свою долю золота он просил послать его матери в Ирландию.

Они взобрались на высокий холм, вышли на открытую поляну, окруженную деревьями. Здесь, у бочки на снегу, торжественно стояли Негук и Хэдикван во главе сивашей. Они привели всю деревню — вплоть до грудных младенцев и собак, чтобы увидеть исполнение закона белых людей. Вблизи была открытая могила, которую Ганс, предварительно оттаяв почву, вырыл в мерзлой земле.

Деннин деловито осмотрел приготовления, оглядел могилу, бочку, веревку и сук, через который она была перекинута.

— Я бы сам не мог лучше сделать, Ганс, если бы это было для тебя.

Он громко рассмеялся собственной остроте, но лицо Ганса замерло в угрюмом оцепенении, которое ничто, казалось, не могло нарушить — разве только трубный глас последнего суда. Ганс чувствовал себя больным. Он совсем себе не уяснил трудности задачи отправить на тот свет другого человека. Зато Эдит действовала в полном сознании. Но это задачи ей не облегчало. Она сомневалась, удастся ли ей держать себя в руках, чтобы довести дело до конца. Она чувствовала нарастающую потребность кричать, упасть в снег, закрыть руками глаза или убежать в лес, куда-нибудь, только — вон отсюда, с величайшим напряжением удавалось ей держаться прямо и делать то, что она должна была сделать. И во всем этом она была признательна Деннину за его помощь.



— Дай мне руку, — сказал он Гансу, влезая с его помощью на бочку.

Он нагнулся так, что Эдит могла накинуть веревку ему на шею. Затем выпрямился, в то время как Ганс подтянул веревку через сук над его головой.

— Майкл Деннин, имеее ли вы что сказать? — спросила Эдит. Голос ее, несмотря на всю ее волю, дрожал.

Деннин глядел с бочки вниз, застенчиво, как человек, который произносит свою первую речь. Он откашлялся.

— Я рад, что это кончено, — сказал он, — вы обращались со мной как с христианином, и я сердечно благодарю вас за всю вашу доброту.

— Да примет тебя, кающегося грешника, Господь, — сказала она.

— Да, — прозвучал в ответ его низкий бас. — Да примет меня Господь, кающегося грешника.

— Прощай, Майкл, — крикнула она, и в голосе ее прозвучало отчаяние.

Она навалилась всей тяжестью на бочку, но не могла ее сдвинуть.

— Ганс! Скорее! Помогите мне, — слабо крикнула она.

Она чувствовала, что последние силы оставляют ее, а бочка не двигалась.

Ганс поспешил к ней, и бочка вылетела из-под ног Майкла Деннина.

Она повернулась к нему спиной, затыкая уши пальцами. Затем начала смеяться резким, металлическим смехом. И Ганс был этим потрясен больше, чем всей трагедией.

Кризис наступил. Даже в своем истерическом состоянии она это понимала и была рада, что сумела выдержать до того момента, когда все было кончено. Внезапно она покачнулась...

— Отведи меня в хижину, Ганс, — с трудом выговорила Эдит. — И дай мне отдохнуть... отдохнуть...

Ганс повел ее — совсем беспомощную — по снегу, поддерживая за талию.

Но индейцы оставались, чинно наблюдая за тем, как действует закон белых людей, заставляющий человека плясать в воздухе.

# ПУТЬ ЛОЖНЫХ СОЛНЦ

Ситка Чарли курил и глядел задумчиво на иллюстрацию, вырезанную из «Полицейской газеты» и прикрепленную к стене. В течение получаса разглядывал он картину, и в течение всего этого получаса я незаметно за ним наблюдал. Что-то происходило в его уме, и я знал, что во всяком случае его мысли заслуживают интереса. Он жил деятельной жизнью и видел многое на своем веку. Он совершил самое большое чудо — отказался от собственного народа и, насколько это вообще возможно для индейца, обратился, по всему своему складу, в белого человека. Сам он, повествуя об этой перемене, говорил, что сел у наших огней и сделался одним из наших. Он никогда не учился читать и писать, но обладал обильным запасом слов. Еще более замечательной была точность, с какой он воспринял взгляды белых людей и отношение их ко всем вещам.

Мы напали на эту покинутую хижину после дня тяжелого пути. Собаки были накормлены; обеденная посуда вымыта; постели приготовлены. Мы наслаждались тем приятным часом, который наступает на аляскинском пути ежедневно, но лишь раз в течение дня. Это час, когда усталый путник, перед тем как улечься, выкуривает свою вечернюю трубку.

Кто-то из прежних обитателей хижины украсил ее стены иллюстрациями, вырезанными из журналов и газет. Эти-то картины и привлекли внимание Ситки Чарли с момента нашего прихода, два часа назад.

Он напряженно изучал их, переходя от одной к другой и снова возвращаясь к прежним. Лицо его было озадачено.

— Ну? — прервал я наконец молчание.

Он вынул трубку изо рта и сказал просто:

— Я не понимаю.

Затем снова закурил и снова вынул трубку, чтобы указать ею на картину из «Полицейской газеты».

— Это картина... что она значит? Я не понимаю.

Я посмотрел на рисунок. Человек с преувеличенно злым лицом падал навзничь на пол, прижимая руку театральным жестом к сердцу. Над ним, с лицом не то падшего ангела, не то Адониса<sup>[8]</sup>, стоял другой человек с дымящимся после выстрела револьвером в руке.

— Один человек убивает другого, — ответил я, чувствуя, что и я разделяю его недоумение и нуждаюсь в объяснении.

— Почему? — спросил Ситка Чарли.

— Я не знаю, — признался я.

— В этой картине только конец, — сказал он. — Она не имеет начала.

— Это — жизнь, — сказал я.

— Жизнь имеет начало, — возразил он.

Я не знал, что сказать. В это время его глаза остановились на соседней иллюстрации. Это была репродукция чьей-то картины «Леда и Лебедь»<sup>[9]</sup>.

— Это картина, — сказал он, — не имеет ни начала, ни конца. Я не понимаю картины.

— Посмотри на ту картину, — сказал я, показывая на третий рисунок. — Она имеет смысл. Скажи же мне, что она означает.

Он несколько минут изучал рисунок.

— Маленькая девочка больна, — сказал он наконец. — На нее смотрит доктор. Они всю ночь не ложились, смотри, в лампе нет масла, первые лучи утреннего света входят в окно. Это очень опасная болезнь; может быть, она умрет. Поэтому доктор смотрит так сурово. Это ее мать.

Это очень опасная болезнь, потому что голова матери лежит на столе и она плачет.

— Как ты знаешь, что она плачет? — прервал я его. — Ты не видишь ее лица. Может быть, она спит.

Ситка взглянул на меня, словно внезапно удивившись, а затем внимательно посмотрел на картину.

Очевидно было, что он не обдумал своего впечатления.

— Может быть, она спит, — повторил он. Он внимательно изучал изображение. — Нет, она не спит. Плечи показывают, что она не спит. Я видел плечи плачущей женщины. Мать плачет. Это очень опасная болезнь.

— И ты понимаешь картину? — воскликнул я.

Он покачал головой и спросил:

— Маленькая девочка — она умрет?

В свою очередь я молчал.

— Умрет она? — повторил он. — Ты — художник. Может быть, знаешь.

— Нет, я не знаю, — признался я.

— Это — не жизнь, — категорически заявил он. — В жизни девочка умрет или выздоровеет. В жизни что-нибудь случится. На картине ничего не случится. Нет, я не понимаю картины.

Он был явно разочарован. Он хотел понять все, что понимают белые люди, и здесь — в этом вопросе — это ему не удавалось. Я чувствовал вместе с тем, что в его вопросах был вызов. Он хотел во что бы то ни стало заставить меня разъяснить ему мудрость картины.

Нужно сказать, что у него были поразительные способности мыслить образами. Он видел жизнь в образах, чувствовал ее в образах, обобщал посредством образов. Но он не понимал образов, выраженных при помощи красок и линий другими людьми.

— Картина — кусок жизни, — сказал я. — Мы рисуем жизнь так, как ее видим. Представь себе, Чарли, что ты идешь по тропе. Ночь. Ты видишь хижину. Окно освещено. Ты смотришь в окно в течение одной или нескольких секунд, ты видишь что-то и затем продолжаешь путь. Быть может, ты увидел человека, который писал письмо. Ты видел что-то, не имевшее ни начала, ни конца. Ничего не случилось. И все же ты видел кусок жизни. Ты запомнил его. Этот кусок жизни — словно картина в твоей памяти. Окно — рамка картины.

Он, видимо, заинтересовался, и я знал, что в то время, как я говорил, он представил себе окно и, заглянув, видел человека, пишущего письмо.

— Есть одна картина, которую ты нарисовал. Я ее понимаю, — сказал он. — Это правдивая картина. В ней много смысла. Она в твоём домике в Доусоне. Это стол игры в «фараон». За столом люди играют. Игра идет большая. Играют без ограничения ставки.

— Почему ты знаешь, что играют без ограничения? — спросил я с интересом. Я был рад услышать беспристрастное суждение о моей работе такого человека, который знал только жизнь, а не искусство и был исключительно художником действительности. К тому же я очень гордился этой картиной. Я назвал ее «Последняя ставка» и считал, что это одно из лучших моих произведений.

— На столе нет золота, — пояснил Ситка Чарли. — Люди играют на марки. Это значит, что нет ограничений. Один человек играет желтыми марками. Может быть, одна желтая фишка стоит тысячу долларов, а может быть, и две. Другой играет красными. Может быть, каждая из этих — пять тысяч долларов, а может быть — тысячу. Это очень большая игра. Все ставят очень высоко. Почему я это знаю? Ты нарисовал банкмета с румянцем на лице (я был в восторге). Ты нарисовал понтера <sup>[10]</sup> наклоненным к столу. Почему он наклонился вперед? Почему его лицо так напряженно? Почему его глаза так блестят? Почему банкмету жарко — у него на лице

румянец? Почему все так молчаливы — и человек с желтыми марками, и человек с белыми марками, и человек с красными? Почему никто не разговаривает? Потому что игра на большие деньги. Потому что это — последняя ставка.

— Но почему ты думаешь, что это последняя ставка? — спросил я.

— Король вышел, семерка открыта, — отвечал он. — Никто не ставит на другие карты. Все другие карты ушли. Все думают об одном. Все теряют с королем, выигрывают с семеркой. Может быть, банк потеряет двадцать тысяч; может быть, выиграет. Да, я понимаю эту картину.

— И, однако, ты не знаешь окончания! — воскликнул я, торжествуя. — Это последняя ставка, но не все карты открыты. И на картине они никогда не будут открыты. Никто не узнает никогда, кто выиграет и кто проиграет.

— И люди будут сидеть там и молчать, — сказал он с каким-то страхом. — И понтер будет наклоняться вперед, и румянец будет на лице у банкмета. Это странная вещь! Всегда будут они там сидеть, всегда! И карты никогда не будут открыты.

— Это картина, — сказал я. — Это жизнь. Ты сам видел нечто подобное.

Он посмотрел на меня в раздумье и затем очень медленно протянул:

— Да, ты говоришь — здесь нет конца. Никто никогда не узнает конца. И, однако, это правда. Я видел это. Это жизнь.

Долгое время он молча курил, обдумывал смысл и значение картин у белых людей, и, проверяя их на жизненных фактах, он несколько раз кивал головой и несколько раз кряхтел. Затем высыпал пепел из трубки, заботливо наполнил ее и после некоторого раздумья снова зажег.

— Я тоже видел в жизни много картин, — начал он, — не нарисованные картины, а виденные глазами. Я смотрел на них так же, как через окно на человека, пишущего письмо. Я видел много обрывков жизни, и все эти обрывки были без начала, без конца, без смысла.

Внезапно изменив свое положение, он уставился прямо на меня и стал внимательно разглядывать.

— Скажи, — сказал он, — ты художник. Как нарисовал бы ты то, что я видел, картину без начала и с непонятным для меня концом? Северное сияние служило ей свечой и Аляска — рамкой.

— Это большое полотно, — заметил я.

Но он не обратил на меня внимания. Картина, казалось, была у него перед глазами.

— Много можно дать названий этой картине, — сказал он. — Но я назову ее «Путь Ложных Солнц», так как в ней на небе рядом с настоящим было два ложных солнца. Это было давно, лет семь назад, в конце 1897 года. Тогда я в первый раз увидел эту женщину. У меня была на озере Линдерман очень хорошая лодка из Петерборо. Я приехал с Чилкутского прохода с двумя тысячами писем для Доусона. Тогда я перевозил почту. В это время все устремлялись в Клондайк. Много людей путешествовало на собаках. Многие рубили деревья и строили лодки. Скоро река должна была замерзнуть. Было много снега в воздухе, много снега на земле; на озере был лед, на реке — там, где водовороты, — тоже лед. С каждым днем было все больше и больше снега, больше льда. Через день, или через три дня, или через шесть дней можно было ожидать, что река станет. Тогда всем придется передвигаться пешком. А Доусон находился в ста милях; прогулка, значит, была большая. Лодка же плывет очень быстро. Поэтому все хотели ехать на лодке. Каждый обращался ко мне, говоря: «Чарли, за двести долларов возьми меня в свою лодку», «Чарли, я дам четыреста долларов». Я же говорил: «Нет!» — все время говорил: «Нет! Я перевожу почту».

Утром достиг озера Линдерман. Я шел всю ночь и очень устал. Я сварил завтрак, поел и затем спал три часа на берегу. Когда я проснулся, было десять часов. Снег падал. Дул ветер,

очень сильный ветер. Рядом со мной, на снегу, сидит женщина. Она была белая женщина, молодая, очень красивая — может быть, двадцати лет, может быть, двадцати пяти. Она смотрит на меня. Я смотрю на нее. Она, вероятно, очень устала. Она не танцовщица. Я это хорошо вижу.

Она порядочная женщина и очень устала.

«Вы — Ситка Чарли, — говорит она. Я встаю и свертываю одеяла, чтобы снег в них не попал. — Я еду в Доусон, — говорит она. — Я еду в вашей лодке. Сколько?»

Я не хочу никого брать в свою лодку. Но мне не хочется сказать — нет. Поэтому я говорю: «Тысяча долларов!» Я говорю это в шутку, чтобы женщина не могла со мной поехать. Это лучше, чем сказать — нет. Она смотрит на меня пристально. Затем спрашивает: «Когда вы едете?» Я говорю ей. Тогда она заявляет, что даст мне тысячу долларов.

Что я могу сказать? Я не хочу брать эту женщину, но я ведь сказал, что она может ехать за тысячу долларов. Я удивлен. Может быть, она тоже шутит? Поэтому я говорю: «Покажите мне тысячу долларов». И тогда эта женщина — эта молодая женщина, совсем одинокая на тропе золотоискателей — вынимает тысячу долларов в зеленых бумажках. Я смотрю на деньги, смотрю на нее. Я говорю: «Нет, моя лодка очень маленькая. В ней нет места для багажа». Она смеется. Она говорит: «Я опытная путешественница. Вот мой багаж!» Она толкает ногой в снег маленький узел. В нем две шубы, зашитые в парусину, и внутри несколько платьев. Я поднимаю поклажу. Она весит, может быть, тридцать пять фунтов. Я очень удивлен. Она берет ее из моих рук и говорит: «Давайте отправляться!» Она несет узел в лодку. Что я могу сказать? Я кладу одеяла в лодку. Мы отправляемся.

Вот так-то я впервые увидел эту женщину. Ветер был попутный. Я поднял маленький парус. Лодка шла очень быстро, летела как птица по большим волнам. Женщина очень боялась. «Для чего вы приехали в Клондайк, если боитесь?» — спрашиваю я. Она смеется резким смехом. Она все еще боится и к тому же очень устала. Я провожу лодку между порогами озера Беннет. Вода очень опасная, и женщина кричит от страха. Мы спускаемся по озеру Беннет. Ветер сильный — совсем буря. Много снега и льда. Но женщина очень устала, она засыпает.

В эту ночь мы разбиваем стоянку у Мыса Ветров. Женщина сидит у огня и ужинает. Я смотрю на нее. Она красива. Она причешьвается. У нее много волос коричневого цвета; иногда они делаются золотыми, как огонь костра. Когда она поворачивает голову, они вспыхивают, как пламя. Глаза ее большие и карие; иногда темные, как свеча за занавеской; иногда твердые и блестящие, как расколотый лед, освещаемый солнцем. Когда она смеется, — как бы мне это сказать, — я знаю, что в это время белому человеку, наверное, хочется ее поцеловать. Она никогда не делает черной работы. Ее руки мягки, как руки ребенка. Она вся мягкая, как маленький ребенок. Она не худая — она круглая, как ребенок; ее руки, ноги, мускулы круглы и мягки, как у ребенка. Ее талия тонкая, и когда она стоит, когда она ходит, — я не знаю, как это выразить, — но на нее приятно смотреть. Я сказал бы, что она построена правильно, как хорошая лодка. Именно так. Когда она двигается — как будто хорошая лодка скользит по спокойной воде или прыгает по сердитым волнам с белыми хлопьями. Приятно на нее смотреть.

Почему она одна в Клондайке — одна, с такими большими деньгами? Я не знаю. На следующий день я спрашиваю ее. Она смеется и говорит: «Ситка Чарли, это не твое дело. Я даю тебе тысячу долларов, чтобы привезти меня в Доусон. Это все, что тебя касается». День спустя я спрашиваю, как ее зовут. Она смеется и говорит: «Мое имя — Мэри Джонс». Я не знаю ее имени, но я знаю хорошо, что ее имя не Мэри Джонс.

Очень холодно в лодке, и она плохо себя чувствует из-за холода. Иногда ей хорошо, и она поет. Ее голос — как серебряный колокольчик, и я чувствую себя добрым, совсем таким, как тогда, когда иду в церковь в Миссии Святого Креста. Когда она поет, я чувствую себя сильным и гребу как дьявол. Затем она смеется и спрашивает: «Чарли, думаешь ли ты, что мы доедем до

Доусона раньше, чем вода станет?» Иногда она сидит в лодке и думает о чем-то далеком, и ее глаза становятся пустыми. Она не видит ни Ситки Чарли, ни льда, ни снега. Она — далеко. Она очень часто так задумывается. Иногда, когда она так думает, ее лицо делается нехорошим. Оно похоже на сердитое лицо, на лицо человека, когда он хочет убить другого.

Последний день до Доусона был очень труден. Уже появился лед с берега на реке. Я не мог грести. Лодка примерзла ко льду. Нельзя было выйти на берег. Было очень опасно. Мы все время шли вниз по Юкону среди льдов. Ночью был большой шум ото льда. Затем лед остановился, лодка остановилась, все остановилось. «Сойдем на берег», — говорит женщина. Но я говорю: «Лучше подождать». Скоро все опять понеслось вниз по течению. Много снега. Я не вижу. В одиннадцать часов ночи опять все стало. В час ночи снова все понеслось. В три часа снова все стало. Лодку выбрасывает словно скорлупу; но под ней лед, и она не тонет. Я слышу вой собак. Мы ждем. Мы спим. Мало-помалу наступает утро. Нет больше снега. Все стало; но мы в Доусоне. Лодка остановилась как раз в Доусоне. Ситка Чарли приехал с двумя тысячами писем; больше никто приехать не мог. Река стала.

Женщина наняла хижину на горе, и целую неделю я ее не видал. Затем, однажды, она приходит ко мне. «Чарли, — говорит она, — хочешь для меня поработать? Ты будешь вести собак, устраивать стоянки, ездить со мной». Я отвечаю, что зарабатываю довольно, перевозя письма. Она говорит: «Чарли, я дам тебе больше денег». Я объясняю ей, что на приисках чернорабочий получает пятнадцать долларов в день. Она говорит: «Это четыреста пятьдесят в месяц». А я говорю: «Ситка Чарли — не чернорабочий». Тогда она говорит: «Я понимаю, Чарли. Я дам тебе семьсот пятьдесят долларов в месяц». Это хорошая цена, и я соглашаюсь для нее работать. Я покупаю для нее собак и сани. Мы едем вверх по Клондайку, по Бонанзе и Эльдорадо; переходим к Индейской реке, к Серной Бухте, к Доминиону; возвращаемся к Золотому Дну и к Золотому Изобилию и затем назад, в Доусон. Все время она что-то ищет; а я не знаю что. «Что вы ищете? — спрашиваю я. Она смеется. — Вы ищете золото?» — спрашиваю я. Она смеется и говорит: «Это не твое дело, Чарли!» После этого я никогда больше не спрашиваю.

Она носит у пояса маленький револьвер. Иногда в пути она учится стрелять. Я смеюсь. «Почему вы смеетесь, Чарли?» — спрашивает она. «Для чего вы играете с этим, — говорю я, — ведь это детская игрушка?» Когда мы возвращаемся в Доусон, она просит меня купить ей хороший револьвер. Я покупаю кольт-44. Он очень тяжелый, но она все время носит его у пояса.

В Доусоне появляется мужчина. Откуда он пришел, я не знаю. Только я знаю, что он — «че-ча-квас», то, что мы называем «неженка». Его руки мягки так же, как ее. Он никогда не выполняет тяжелой работы. Он весь мягкий. Сперва думаю — это ее муж. Но он слишком молод. И на ночь они ставят две кровати. Ему, быть может, двадцать лет. У него глаза голубые, светлые волосы и маленькие белокурые усы. Его зовут Джон Джонс. Может быть, он ее брат. Я не знаю. Я больше не спрашиваю, только мне кажется, что его имя не Джон Джонс. Некоторые люди называют его мистер Джирвэн. Я не думаю, чтобы это было его имя. Я не думаю, что ее имя мисс Джирвэн, как называют ее некоторые. Я думаю — никто не знает их имен.

Раз, ночью, я сплю в Доусоне. Он будит меня. Он говорит: «Приготовьте собак. Мы отправляемся». Я не спрашиваю ни о чем, впрягаю собак, и мы едем. Мы едем вниз по Юкону. Ноябрьская ночь. Очень холодно — шестьдесят пять градусов ниже нуля. Они — неженки. Мороз кусает. Они устают. Они тихо плачут.

Я предлагаю остановиться и устроить ночлег. Но они говорят, что поедут дальше. И после этого я три раза советую разбить лагерь и отдохнуть, но они каждый раз отвечают, что едут дальше. Тогда я молчу.

И вот изо дня в день повторяется то же самое. Они оба — неженки. Они коченеют, и им делается больно. Они не понимают, как надо носить мокасины, и ноги их очень болят. Они

хромают. Они шатаются, как пьяные. Они тихо плачут. И все время они говорят: «Вперед, вперед! Едем дальше!»

Они как будто сошли с ума. Они все время едут дальше и дальше. Почему? Я не знаю. Только они все едут дальше. Что они ищут? Я не знаю. Они здесь не за золотом. Они не больны золотой горячкой. Кроме того, они тратят очень много денег. Но я больше не спрашиваю. Я тоже еду вперед, потому что я силен и привычен к дороге, и мне хорошо платят.

Мы доезжаем до Сёркл. Там нет того, что они ищут. Я думаю, теперь, может быть, мы отдохнем и дадим передохнуть собакам. Но мы не останавливаемся ни на один день. «Едем, — говорит женщина мужчине, — едем дальше». И мы едем дальше. Мы оставляем Юкон. Мы переезжаем водораздел налево и поворачиваем в страну Тананау. Там новые прииски. Но того, что мы ищем, там нет, и мы возвращаемся в Сёркл.

Путь очень трудный. Декабрь уже кончается, и дни коротки. Холодно, очень холодно. Раз утром термометр показывает семьдесят ниже нуля. «Лучше сегодня не ехать, — говорю я. — Мороз прихватит края наших легких. Мы будем сильно кашлять, и будущей весной можем заболеть воспалением легких». Но они — че-ча-квас'ы. Они не понимают трудностей пути. Они — словно мертвые от усталости, но говорят: «Едем дальше». Мы едем дальше. Мороз кусает их легкие, и они начинают сухо кашлять. Они плачут, и слезы сбегают по их щекам. Когда жарится сало, они должны убегать от огня и полчаса кашлять. Они отмораживают себе слегка щеки, кожа их становится черной и очень болезненной. Мужчина отмораживает себе большой палец так, что кончик едва не отваливается; он должен надеть толстые варежки, чтобы согреть руку. Когда мороз сильно щиплет и пальцу очень холодно, он снимает варежку и кладет руку между ногами, вплотную к телу, чтобы согреть палец.

Мы насилу добираемся до Сёркл, и даже я, Ситка Чарли, утомлен. Это канун Рождества. Я танцую, пью, веселюсь. Завтра — Рождество, и мы отдохнем. Но не тут-то было. Пять часов утра в день Рождества. Я спал два часа. Мужчина стоит у моей постели. «Едем, Чарли, — говорит он, — запрягай собак. Мы едем!»

Кажется, я говорил, что уже перестал задавать вопросы. Они платят мне семьсот пятьдесят долларов в месяц. Они — мои хозяева. Если они скажут мне: «Идем, Чарли, поедem в ад», — я запрягу собак, щелкну бичом и поеду в ад. Итак, я запрягаю собак, и мы отправляемся вниз по Юкону. Куда мы едем? Они не говорят. Они только говорят: «Дальше! Дальше!..»

Они очень устали. Они проехали сотни миль и совершенно не понимают, как на Севере ездят. К тому же их кашель очень усилился. Этот сухой кашель заставляет сильных мужчин ругаться, а слабых — плакать. Но они едут дальше. Они никогда не дают собакам отдохнуть. Всюду они покупают новых собак. В каждом лагере, на каждой почтовой станции, в каждой индейской деревне они отпускают усталых собак и впрягают свежих. У них много денег, и они тратят их без конца. Они сумасшедшие? Иногда я так думаю, ибо в них сидит дьявол, который гонит их вперед. Что они стараются найти? Это не золото. Они никогда не копаются в земле. Я долго думаю. И наконец я прихожу к убеждению, что они ищут человека. Но какого человека? Мы его не видим. Они вроде волков, идущих по следу, чтобы убить. Но они странные волки — слабые волки, волчата, не понимающие, как надо идти по следу. Ночью, во сне, они громко плачут, стонут и жалуется на боль и усталость. А днем они, шатаясь, идут по тропе и тихо плачут. Они странные волки.

Мы проезжаем форт Юкон. Мы переезжаем форт Гамильтон. Мы проезжаем Минук. Январь на исходе. Дни очень коротки. В девять часов светает. В три часа темнеет. Очень холодно. И даже я, Ситка Чарли, утомлен. Неужели они будут так ездить без конца? Я не знаю. И всегда я ищу на тропе то, что они стараются найти. Мало людей на тропе. Иногда мы едем целых сто миль и не встречаем следа жилья. Тишина. Ни одного звука. Иногда идет снег, и мы подобны

блуждающим призракам. А иногда ясно, и в полдень солнце на мгновение выглядывает из-за южных холмов. Северное сияние вспыхивает на небе. Солнце, окруженное ложными солнцами. Воздух полон морозной пыли.

Я, Ситка Чарли, — сильный человек. Я вырос на тропе и провел на ней всю мою жизнь. И все же эти волчата меня утомили. Я худ, как голодная кошка. С радостью ложусь я в постель, а утром встаю усталый. И все-таки мы всегда выступаем еще задолго до рассвета, и сумерки застают нас всегда в пути.

Что за волчата! Если я худ, как голодная кошка, то они худы, как кошки, которые никогда не ели и уже подохли. Их глаза глубоко ушли в глазные впадины. Они блестят иногда лихорадочным огнем; а иногда они мутны и туманны, как глаза мертвеца. Их щеки провалились, словно пещеры в скалах. И кожа на щеках почернела и отморожена. Иногда женщина по утрам шепчет: «Я не могу встать; я не могу двинуться. Дай мне умереть!» Мужчина же стоит рядом с ней и говорит: «Едем дальше!» И они едут дальше. А иногда мужчина не может встать, и женщина говорит: «Едем дальше!» И всегда они отправляются дальше. Вперед и вперед.

На некоторых торговых станциях мужчина и женщина получали письма. Я не знаю, что было в этих письмах. Но это был след, по которому они шли, — эти письма. Раз индеец дал им письмо. Я поговорил с ним незаметно. Он рассказал мне, что получил письмо от человека с одним глазом, который быстро едет вниз по Юкону. Вот и все. Но я узнал, что волчата идут за одноглазым человеком.

Наступил февраль. Мы прошли тысячу миль и приближаемся к Берингову морю. Метель. Путь очень труден. Мы прибываем в Анвиг. Я не видел, но убежден, что они получили письмо в Анвиге, потому что очень возбуждены. Они говорят: «Скорей, скорей... едем дальше!» Я отвечаю, что надо купить провизию. Но они хотят ехать быстро и налегке. Они говорят, что мы найдем провиант в хижине Чарли Мак-Киона. Из этого я узнаю, что они хотят идти широкой боковой тропой, потому что Чарли Мак-Кион живет у Черной Скалы на этой тропе.

Раньше чем отправиться, я говорю две минуты с анвигским священником. Да, мимо проехал человек с одним глазом, и двигается он очень быстро. И я знаю, что они ищут одноглазого человека. Мы выезжаем из Анвига с маленьким запасом провианта, едем быстро и налегке. Мужчина и женщина словно сошли с ума. По утрам мы выступаем еще раньше, а вечером едем еще дальше. Я иногда ожидаю, что эти два волчонка умрут, но они не умирают. Они едут все дальше и дальше. Когда сухой кашель начинает их душить, они прижимают руки к животу и, сидя в снегу, кашляют, кашляют, кашляют. Они не могут ходить, не могут говорить. Десять минут, а не то так и целые полчаса, они кашляют, затем выпрямляются, с замерзшими от кашля слезами на лицах, и говорят все те же слова: «Едем дальше!»

Даже я, Ситка Чарли, сильно устал и думаю, что семьсот пятьдесят долларов — очень дешевая плата за такую работу. Мы сворачиваем на боковую тропу; эта тропа не убита. Волчата держат нос по следу и говорят: «Спешим! — все время они говорят: — Спешим! Скорее, скорее!» Собакам тяжело. У нас мало еды; мы не можем их хорошо кормить, и они слабеют. Несмотря на это, они должны везти без передышки. Женщина их жалеет, и часто из-за них слезы навертываются у нее на глазах. Но дьявол сидит в ней и не позволяет ей остановиться и дать отдохнуть собакам.

Скоро мы настигаем человека с одним глазом. Он лежит со сломанной ногой на снегу около тропы. Из-за ноги он не мог разбить настоящей стоянки и три дня лежал на снегу, поддерживая огонь. Когда мы находим его, он ругается. Ругается как черт. Никогда не слышал я такой ругани. Я рад. Теперь, думаю я, они нашли то, что искали, и мы отдохнем. Но женщина опять говорит: «Едем! Скорее!»

Я удивлен. Но одноглазый человек говорит: «Не обращайтесь на меня внимания. Дайте мне



вашу провизию. Вы найдете завтра провизию в хижине Мак-Киона. Пошлите Мак-Киона за мной. Но поезжайте дальше». Вот еще один волк — старый волк, — и он тоже думает только об одном — ехать дальше, все дальше. И мы даем ему нашу провизию, которой остается у нас немного, рубим дрова для костра, берем самых сильных собак и едем. Мы оставляем одноглазого человека лежать, и он умер там на снегу, так как Мак-Кион за ним не пришел. Я не знаю, кто был этот человек и почему он там очутился. Но я думаю, что мужчина и женщина ему, как и мне, хорошо заплатили, чтобы он для них работал.

В этот день и ночь у нас не было никакой пищи. Весь следующий день мы ехали очень быстро и ослабели от голода. Скоро мы подошли к Черной Скале, которая возвышается на пятьсот футов над тропой. День кончался. Уже сгущалась темнота, и мы не могли найти хижину Мак-Киона. Мы спали голодные и утром приступили к поискам хижины. Ее там не было, и это было очень странно, так как все знали, что Мак-Кион живет в хижине у Черной Скалы. Мы были недалеко от морского берега, где ветер дует очень сильно и падает много снега. Всюду были снежные холмы — снег был нанесен ветром. У меня возникла одна мысль, и я стал разрывать эти холмы. Скоро я нашел стены хижины и открыл дверь. Я вошел и увидел, что Мак-Кион мертв. Быть может, он умер две или три недели тому назад. Он заболел и не мог оставить хижину. Ветер завалил ее снегом. Чарли съел весь свой провиант и умер. Я искал в его кладовой и еды не нашел.

«Едем дальше!» — воскликнула женщина. Глаза у нее были голодные, и рукой она держалась за сердце, как будто внутри у нее что-то болело. Стоя там, она качалась взад и вперед, как дерево на ветру. «Да, едем дальше», — сказал мужчина. Его голос звучал глухо, как карканье старого ворона, и он, казалось, сошел с ума от голода. Его глаза были как огненные угли, и тело его раскачивалось из стороны в сторону. Казалось, что и душа его тоже мечется. Я тоже сказал: «Едем дальше». Ибо эти слова, которые хлестали меня тысячу миль, въелись, наконец, мне в душу. И я думаю, что я также сошел с ума. К тому же нам оставалось только продвигаться дальше, так как у нас не было пищи. И мы отправились, не задумываясь о судьбе человека с одним глазом.

По этой боковой тропе мало ездят. Иногда в течение двух или трех месяцев никто не пройдет по ней. Вся тропа была завалена снегом, и казалось, что этой дорогой никогда не шли. Целый день ветер дул и снег падал, и целый день мы ехали, пока наши желудки не стали ныть от голода и мы совсем не ослабели. Наконец женщина начала спотыкаться и падать. Затем и мужчина. Я не падал, но мои ноги отяжелели, и я много раз спотыкался.

Это была последняя ночь февраля. Я убил трех белых птармиганов из револьвера женщины, и мы снова несколько окрепли. Но собаки не были накормлены. Они пытались съесть свою упряжь из оленьей и моржовой кожи, и я должен был отогнать их палкой и повесить упряжь на дерево. Всю ночь они выли и дрались вокруг дерева. Но мы не обращали на это внимания. Мы спали как убитые, а утром встали — как мертвые встают из могилы — и пошли по тропе.

В это первое мартовское утро я увидел наконец признаки того, за чем охотились волчата. Была ясная и холодная погода. Солнце дольше оставалось на небе; а ложные солнца сияли по обеим его сторонам. Воздух блестел морозной пылью. Снег перестал падать на тропу, и я увидел свежие следы собак и саней. В санях едет, по-видимому, один человек, и видно, что он слаб. Он тоже не имел достаточно пищи. И волчата замечают свежий след. Они очень возбуждены. «Спешим! — говорят они и все повторяют: — Спешим! Скорее! Чарли, скорее!»

Но спешить мы не можем. Мужчина и женщина все время спотыкаются и падают. Когда они пытаются ехать на санях, собаки тоже падают — они слишком слабы. К тому же так холодно, что если волчата сядут на сани, то непременно замерзнут. Очень легко замерзнуть голодному человеку. Когда женщина падает, мужчина помогает ей встать. А иногда женщина

подымает мужчину. Но скоро, падая, они оба не могут встать, и я должен помогать им. Иначе они не встанут и умрут на снегу. Это трудная работа, и я очень устаю. Они совсем выбились из сил и очень тяжелы. К тому же я должен управлять собаками. Наконец я тоже валюсь в снег, и некому помочь мне встать. Но я встаю сам, помогаю им и понукаю собак двинуться вперед.

В эту ночь я застрелил только одного птармигана, и мы очень голодны. И в эту же ночь мужчина говорит мне: «В котором часу мы завтра отправляемся, Чарли?» Его голос звучит как голос привидения. Я отвечаю: «Мы все равно отправляемся в пять часов. — Смеюсь и говорю с горечью: — Ведь вы — уже мертвый человек». Но он шепчет: «Завтра мы отправляемся в три часа».

И мы в самом деле пускаемся в путь в три часа, так как я их слуга и исполняю их приказания. Ясно и холодно, нет ветра. Когда светает, мы видим далеко вперед. Очень тихо. Мы ничего не слышим, кроме биения наших сердец. В этой тишине их хорошо слышно. Мы словно лунатики, бродящие во сне. Мы блуждаем во сне, пока не падаем. Тогда мы знаем, что должны встать, и снова видим тропу и слышим стук своего сердца. Иногда, идя вот так, я вижу странные сны, мне приходят на ум странные мысли. Зачем живет Ситка Чарли, спрашиваю я себя. Зачем Ситка Чарли так работает, голодает, мучится? Потому что получает семьсот пятьдесят долларов в месяц — ведь это глупый ответ. И однако — это ответ. Потом я никогда в своей жизни не обращал внимания на деньги. Потому что с этого дня в меня вошла большая мудрость. Словно яркий свет осенил меня, и я ясно увидел, что человек живет не ради денег, но ради счастья, которое не может быть ни подарено, ни куплено, ни продано и стоит дороже золота всего мира.

Утром мы приходим к месту ночной стоянки человека, который едет впереди нас. Вид брошенной стоянки говорит о том, что человек страдает от голода и слабости. На снегу разбросаны куски одеял и парусины, и я понимаю, что произошло. Его собаки съели свою упряжь, и он сделал новую упряжь из своих одеял. Мужчина и женщина смотрят пристально на эти следы, и я чувствую, глядя на них, что мороз пробирает меня по коже. Их глаза горят нездоровым блеском от утомления и голода. Их лица похожи на лица людей, умерших от голода, а их отмороженные щеки чернеют. «Идем вперед», — говорит мужчина. Но женщина кашляет и падает на снег. Это сухой кашель от мороза, захватившего легкие. Она кашляет долго. Затем, словно выползая из могилы, она с трудом встает на ноги. Слезы замерзли на ее щеках, и она дышит тяжело, со свистом, но говорит: «Идем вперед!»

Мы отправляемся дальше. Мы идем как во сне, в этой тишине, и не испытываем страданий. Падая, мы как будто пробуждаемся и видим снег и горы и свежий след человека, едущего впереди. И тогда мы снова начинаем страдать. Мы приходим к месту, где перед нами расстилается широкое открытое пространство, и на снегу, впереди, мы видим того, кого ищем. На расстоянии мили от нас по снегу двигаются черные точки. Мои глаза мутны, и я собираюсь с силами, чтобы рассмотреть. Я вижу одного человека с собаками и санями. Волчата также видят. Они уже не могут говорить и только шепчут: «Вперед, вперед, скорее!»

Они падают, но встают и идут дальше. У человека, едущего впереди, часто рвется упряжь из одеял, и он вынужден останавливаться и чинить ее. Наша упряжь в порядке, так как я вешал ее на деревья каждую ночь. В одиннадцать часов человек находится за четверть мили от нас. Он очень слаб. Мы видим, что он часто падает в снег. Одна из его собак не может идти дальше. Он перерезает упряжь, чтобы освободить ее. Но он не убивает собаки. Когда мы проходим мимо лежащей собаки, я убиваю ее топором; убиваю я также и одну из своих собак, упавшую и не могущую дальше идти.

Теперь нас разделяют триста ярдов. Мы двигаемся очень медленно. Может быть, со скоростью одной мили в два или три часа. Мы не идем. Мы все время валимся с ног. Мы встаем и делаем, шатаясь, два или три шага и затем снова падаем. Все время я должен помогать

мужчине и женщине. Иногда они поднимаются на колени и падают лицом вниз, несколько раз, раньше чем могут встать на ноги, сделать еще несколько шагов и снова упасть. Но, стоя на ногах или на коленях, они всегда валятся вперед и таким образом продвигаются по следу дальше на длину их собственного тела.

Иногда они ползут на руках и ногах, как звери. Мы подвигаемся со скоростью улиток, со скоростью умирающих улиток. И все же мы идем быстрее, чем человек, который впереди нас. Он тоже все время падает, и у него нет Ситки Чарли, чтобы помочь ему встать. Теперь он всего в двухстах ярдах от нас. Наконец между нами только сто ярдов.

Это забавное зрелище. Мне хочется громко смеяться, так это забавно. Это — шествие смерти. Гонки мертвых людей и мертвых собак. Это похоже на ночной кошмар, когда стараешься бежать изо всех сил, спасая жизнь, а передвигаешься очень медленно. Мой спутник сошел с ума. Моя спутница сошла с ума. Я сошел с ума. Весь мир сошел с ума, и мне хочется смеяться, так это забавно.

Незнакомец оставляет своих собак и идет один по снегу. Спустя немного, мы подходим к его собакам. Они впряжены в сани и в упряжи из одеял лежат, бессильные, на снегу. Когда мы проходим мимо, они скулят, как голодные дети.

Тогда мы тоже оставляем собак и идем одни по снегу. Мужчина и женщина почти мертвы. Они стонут и плачут, но идут вперед. Я тоже иду вперед. У меня только одна мысль — настигнуть незнакомца. Тогда — и только тогда — я смогу отдохнуть, и мне кажется, что я лягу к засну и буду спать тысячу лет — так я устал.

Незнакомец в пятидесяти ярдах — один на белом снегу. Он падает и ползет, встает, шатается и снова падает и ползет. Он похож на тяжело раненного зверя, пытающегося убежать от охотника. Теперь он ползет на руках и на коленях. Он больше не встает. Но мужчина и женщина также уже не могут встать. Они тоже ползут за ним на руках и коленях. Но я встаю. Иногда я падаю, но всегда снова поднимаюсь на ноги.

Это странная картина. Тишина и снег, и по снегу ползут мужчина и женщина, а впереди незнакомец. Около солнца, по одному с каждой стороны, — ложные солнца. На небе, таким образом, три солнца. Морозная пыль похожа на алмазную, и воздух наполнен ею. Женщина кашляет и лежит на снегу, пока припадок проходит. Мужчина смотрит прямо перед собой и должен тереть свои помутневшие глаза, чтобы увидеть незнакомца. Незнакомец смотрит назад через плечо. А Ситка Чарли то стоит на ногах, то падает и снова встает.

Но вот через большой промежуток времени видно, что незнакомец перестал ползти. Он медленно становится на ноги, качаясь взад и вперед. Он снимает одну перчатку и ждет с револьвером в руке, сильно раскачиваясь. Лицо его — только кожа и кости и почернело от мороза. Это лицо голодающего. Глаза глубоко впали, а губы приоткрылись — он что-то злобно рычит. Мужчина и женщина также встают на ноги и медленно подвигаются к нему. Вокруг снег и тишина. На небе три солнца, и морозный воздух сверкает алмазной пылью.

Тут увидел я, как волчата настигли свою добычу.

Никто не говорит ни слова. Только незнакомец издает злобное рычание. Он качается взад и вперед, со сгорбленными плечами и согнутыми коленями, широко расставив ноги, чтобы не упасть. Мужчина и женщина останавливаются в пятидесяти шагах от него. Они тоже качаются, и ноги их широко расставлены, чтобы не упасть. Незнакомец очень слаб. Его рука трясется в то время, как он стреляет в мужчину. Пуля попадает в снег. Мужчина не может снять варезку. Незнакомец снова в него стреляет. Мимо. Тогда мужчина зубами стаскивает варезку. Но его рука замерзла, и он не может держать револьвер, который падает в снег. Я смотрю на женщину. Она сняла варезку. В ее руке большой кольт. Она стреляет три раза — раз за разом. Незнакомец все еще издает какие-то звуки, падая лицом вниз — в снег.

Они не смотрят на убитого. «Идем дальше», — говорят они. И мы идем вперед. Но теперь, когда они нашли то, что искали, они — как мертвые. Последние силы их оставили. Они больше не могут стоять на ногах. Они не хотят и ползти, они хотят спать. Вблизи я вижу место, пригодное для стоянки. Я ударяю их ногою. Я беру собачий бич и бью их. Они громко кричат, но вынуждены ползти. Так доползают они до лагерного места. Я развожу костер, чтобы они не замерзли. Затем возвращаюсь к саням. Я убиваю собак незнакомца, чтобы было что есть. Я заворачиваю мужчину и женщину в одеяла, и они спят. Иногда я бужу их и даю им немного поесть. Они дремлют, но принимают пищу. Женщина спит тридцать шесть часов. Затем просыпается и снова засыпает. Мужчина спит два дня, просыпается и снова засыпает. Потом мы спускаемся вместе к побережью. И когда лед уходит из Берингова моря, мужчина и женщина уезжают на пароходе. Но сперва они платят мне семьсот пятьдесят долларов в месяц. И дают мне еще подарок — тысячу долларов. Это было в том самом году, когда Ситка Чарли дал много денег в Миссию Святого Креста.

— Но почему они убили этого человека? — спросил я.

Ситка Чарли медлил с ответом, пока не зажег своей трубки. Он взглянул на иллюстрацию «Полицейской газеты» и кивком головы указал на нее. Затем сказал медленно и вразумительно:

— Я много об этом думал. Я не знаю. Я знаю только, что это случилось. Я помню эту картину. Как будто мы смотрим в окно и видим человека, пишущего письмо. Они вошли в мою жизнь и ушли из моей жизни. Картина эта, как я сказал, не имеет начала. А конец непонятен.

— Ты нарисовал в этом рассказе много картин, — сказал я.

— Да, — кивнул он головой, — но они были без начала и без конца.

— Последняя картина имела конец.

— Да, — ответил он, — но какой конец?

— Это был кусок жизни.

— Да, — согласился он, — это был кусок жизни.

# ТРУС НЕГОР

Одиннадцать дней он шел по следу своего племени. Все племя — мужчины, женщины и дети — убегало от преследования. Спасался бегством и он сам. Он знал, что за ним идут эти ужасные русские. Через болота и крутые овраги двигались они вперед, и целью их было полное уничтожение всего его народа. Он шел налегке. Вся его поклажа состояла из заячьей шубы, ружья центрального боя и нескольких фунтов сушеного лосося. Несмотря на это, он с трудом нагонял свое племя. И это не удивляло его, так как он знал, что страх, внушаемый русскими, способен гнать вперед с невероятной быстротой целый народ.

Было это в прежние времена, в половине XIX века, когда русские владели Аляской. Наконец летней ночью Негор настиг беглецов у истока Пилата. В полночь было светло, как днем, он проходил через усталый лагерь. Многие видели его, все знали, но почти никто его не приветствовал.

— Трус Негор, — услышал он слова Иллихи, молодой женщины. Она засмеялась, и вместе с нею смеялась Сонни, дочь его сестры.

Прилив гнева охватил его. Но он не подал виду. Он пробирался между лагерными кострами, пока не дошел до огня, возле которого сидел старик. Молодая женщина умело массировала утомленные мускулы его ног.

Старик поднял свое слепое лицо и внимательно прислушался к шагам Негора, ступающего по сухим веткам.

— Кто идет? — заскрипел его старческий голос.

— Негор, — ответила молодая женщина, не отрываясь от работы.

Лицо Негора было бесстрастно. В течение нескольких минут он стоял и ждал. Старик склонил голову на грудь. Молодая женщина, стоя на коленях, с головой, спрятанной в облаке густых черных волос, продолжала массировать его усталые мускулы. Негор смотрел на ее стройное тело, сгибающееся у талии подобно телу рыси. Она была похожа на тонкий ствол березы, но вместе с тем в ней чувствовалась вся сила молодости. Он смотрел, и весь был охвачен глубокой тоской по ней, почти подобной физическому голоду. Наконец он спросил:

— Разве нет приветливого слова для Негора, который так долго отсутствовал и теперь только вернулся?

Она посмотрела на него холодно. Старик насмешливо засмеялся.

— Ты моя жена, Уна, — сказал Негор твердо и с тенью угрозы.

Она встала внезапно и мягко, по-кошачьи, выпрямилась. Ее глаза сверкали, ее ноздри трепетали, как у оленя.

— Я должна была быть твоей женой, Негор. Но ты — трус. Дочь Старого Кинуза не может быть женой труса.

Он пытался говорить, но она заставила его замолчать властным жестом.

— Старый Кинуз и я пришли к вам из далекой страны. Ваше племя приняло нас к своим кострам и согрело, не спрашивая, откуда мы и почему странствуем. Они думали, что Старый Кинуз потерял зрение от старости. И ни Старый Кинуз, ни я этого не опровергали. Старый Кинуз был храбрый человек, но он не хвастун. Теперь, когда ты узнаешь, как он ослеп, ты поймешь, что дочь Кинуза не может быть матерью детей такого труса, как ты, Негор.

Она снова не дала ему заговорить.

— Знай, Негор, если сложить все твои переходы в здешней стране, и то ты не дошел бы до Ситки на Великом Соленом озере. Там много русских людей, и закон их суров. Из этой Ситки бежал Старый Кинуз, который в те дни был молодым Кинузом. Он бежал со мной — маленьким

ребенком на руках, вдоль островов, находящихся посреди моря. Моя убитая мать могла бы рассказать о его обиде. Убитый русский, с копьем, пронзившим ему грудь и спину, мог бы рассказать об исполненной мести Кинуза.

— Но всюду, куда мы бежали и как бы далеко мы ни уходили, везде мы находили ненавистных русских. Кинуз не боялся их, но видеть их не мог. Поэтому мы бежали все дальше и дальше, через озера и реки, пока не пришли к Великому Туманному морю, о котором ты слышал, но которого ты никогда не видел. Мы жили среди разных племен, и я выросла и стала женщиной. Но Кинуз, сделавшись стар, не взял себе другой женщины, и я не взяла себе мужа. Наконец мы пришли в Пэстилик, туда, где Юкон вливается в Великое Туманное море. Здесь мы долго жили на краю моря среди народа, ненавидевшего русских. Но иногда они приходили, эти русские, на больших кораблях и заставляли жителей Пэстилика показывать им дорогу между бесчисленными островами у устья Юкона. И иногда люди, которых они брали с собою, чтобы показать им дорогу, не возвращались. Наконец народ этот не мог выносить дольше и задумал великое дело.

— И когда пришел корабль, Старый Кинуз выступил и сказал, что покажет русским путь. Он был тогда уже стариком, и волосы его были седые. Но он был бесстрашен. И он был хитер, ибо повел корабль туда, где море стремится к берегу и где волны бьют белой пеной о гору, называемую Романовой. Море унесло корабль туда, где волны бьют о берег; он был выброшен на берег и разбился о скалы. Тогда пришли люди из Пэстилика (ибо в этом заключался их замысел) с копьями, стрелами и немногими ружьями. Но перед этим русские выкололи глаза Старому Кинузу, чтобы он никогда больше не мог указывать дорогу. И затем началось сражение там, где волны бьют о берег, с людьми из Пэстилика.

— Во главе этих русских был Иван. Он сам, своими двумя большими пальцами, выдавил глаза Старого Кинуза. Затем с двумя людьми, оставшимися из всего его отряда, он пробился сквозь ряды противника, прошел через бурные воды и ушел вдоль берега Великого Туманного моря к северу. Он бежал от моря вверх по великому неведомому Юкону до Нулато. И я бежала с ним. Так поступил старик, мой отец. Но что сделал юноша Негор?

Снова она жестом заставила его молчать.

— Моими собственными глазами я видела в Нулато, перед воротами большой крепости, всего несколько дней назад, я видела, как тот самый русский Иван, который ослепил моего отца, ударил тебя собачьим кнутом и избил, как собаку. Я видела это и узнала, что ты трус. Но я тебя не видела в ту ночь, когда все твое племя — да, даже мальчики, не способные к охоте, — напало на русских и всех их перебило.

— Только не Ивана, — сказал спокойно Негор. — И сейчас он гонится за нами, и с ним много русских из-за моря.

Уна не пыталась скрыть своего удивления и сожаления, что Иван не убит. Но она продолжала:

— Днем я увидела, что ты трус; ночью, когда все мужчины и даже мальчики сражались, я тебя не видела и вторично убедилась в том, что ты трус.

— Ты кончила? Все сказала? — спросил Негор.

Она кивнула головой и посмотрела на него — как это он может что-нибудь вообще сказать.

— Знай же, что Негор — не трус, — так начал он спокойно и небрежно. — Знай, что когда я был еще мальчиком, я ходил один к месту, где Юкон вливается в Великое Туманное море. Я доходил до Пэстилика и даже дальше, вдоль края моря. Я сделал это, когда я был мальчиком, и это показывает, что я не был трусом. И я не был также трусом, когда ходил молодым, совсем один, вдоль Юкона, дальше, чем кто-либо когда-нибудь заходил, — так далеко, что я пришел к другому народу, с белыми лицами, но говорящему на другом, чем русские, языке. Я убил также

большого, очень большого медведя в стране Тананау, куда не заходил никто из моего народа. И я сражался с нуклукиетами и калтагами и с таксами в далеких местностях, — и все один. Об этих делах, о которых ни один человек не знает, я сам рассказываю. Пусть мои соплеменники расскажут о том, что я сделал и что им известно. Они не скажут, что Негор — трус.

Он с гордостью кончил и ждал ответа.

— Это случилось до моего прихода в эту страну, — сказала она, — и я ничего об этих делах не знаю. Я знаю только то, что видела, а я видела, как тебя избивали. Ночью же, когда великая крепость горела и люди убивали и сами умирали, я тебя не видела среди них. И люди твои теперь называют тебя — Негор-трус. Это теперь твое имя — Негор-трус.

— Это нехорошее имя, — проскрипел старик.

— Ты не понимаешь, Кинуз, — Негор говорил незлобиво, — но я объясню тебе. Знай же, что я был на охоте за медведем с Камо-Та, сыном моей матери. И Камо-Та боролся с большим медведем. Мы не имели мяса в течение трех дней, и Камо-Та был недостаточно силен и ловок. Большой медведь сдавил его так, что кости его хрустели, как сухие палки. Я нашёл его, больного и стонущего, на земле. И не было мяса, и я не мог ничего убить, что он мог бы есть.

— Тогда я сказал: «Я пойду в Нулато и принесу тебе пищу, а также приведу сильных людей, чтобы отнести тебя в стоянку». Но Камо-Та сказал: «Иди в Нулато и принеси пищу, но не говори ни слова о том, что со мной случилось. Тогда я вернусь с честью в Нулато, и никто не будет смеяться и не скажет, что Камо-Та был побежден медведем». Я послушался моего брата, и, когда вернулся и русский, по имени Иван, ударил меня кнутом, я знал, что не могу сопротивляться. Ибо никто не знал про Камо-Та, больного, стонущего и голодного. Если бы я дрался с Иваном и умер бы, мой брат также бы умер. Поэтому-то, Уна, ты и видела, что меня били, как собаку. В это время я слышал разговор шаманов и вождей о том, что русские разнесли среди наших людей неведомую болезнь, что они убили многих из нас и похитили наших женщин. Говорили, что земля должна быть очищена от этих пришельцев. Я слышал этот разговор и знал, что это добрые речи и что в эту ночь русские должны быть убиты. Но мой брат Камо-Та был болен и не имел пищи. И поэтому я не мог остаться и сражаться вместе с мужчинами и мальчиками, не способными еще к охоте.

Я унес с собой мясо и рыбу и следы от ударов Ивана. Но я нашел, что Камо-Та уже не стонет — он умер. Тогда я вернулся в Нулато, но не было уже Нулато — только пепел чернел и валялись трупы многих людей в том месте, где стояла великая крепость. И я видел, как русские поднимались вверх по Юкону в лодках. Было много русских, пришедших с моря. И я видел, как Иван выполз из того места, где прятался, и вел с ними разговор. И на следующий день я видел, что Иван ведет их по следу нашего племени. И сейчас они идут по этому следу. Я же здесь, я, Негор. Ия — не трус.

— Я слышу этот рассказ, — сказала Уна, и голос ее звучал мягче, чем прежде. — Но Камо-Та умер и не может сказать за тебя слова. И я знаю только то, что я видела. Я должна собственными глазами увидеть, что ты не трус.

Негор сделал нетерпеливое движение.

— По-разному можно это сделать, — продолжала она. — Хочешь сделать не менее того, что сделал Старый Кинуз?

Он кивнул головой и ждал.

— Ты сказал, что эти русские и сейчас нас ищут. Негор, покажи им путь так же, как когда-то Старый Кинуз. Пусть придут они, ничего не подозревая, к тому же месту, где мы их будем ждать, — к проходу между скалами. Ты знаешь место, где скалистая стена высока и изломана. Там мы их уничтожим, во главе с Иваном. Когда они будут, подобно мухам, цепляться за скалы, наши люди нападут на них с обеих сторон с копьями, стрелами и ружьями. Сверху женщины и

дети будут скатывать на них обломки скал. Это будет великий день. Русские погибнут, и страна наша будет очищена. Иван же, тот самый Иван, который ослепил моего отца и избил тебя плетью для собак, будет также убит. Он умрет, как бешеная собака, раздавленный скалами. А когда начнется сражение, ты, Негор, должен тайком уползти, так, чтобы тебя не убили.

— Хорошо, — ответил он. — Негор покажет им дорогу. А потом?

— Тогда я буду твоей женой, Негор, — женой храброго человека. Ты будешь охотиться для меня и Старого Кинуза, и я буду готовить тебе пищу и шить тебе теплое, крепкое платье и сделаю тебе обувь по образцу моего народа — она будет лучше, чем та, которую у вас носят. И я буду с этого дня всегда твоей женой. Я сделаю твою жизнь радостной, так что все твои дни будут полны песнями и смехом, и ты узнаешь, что Уна не похожа на других женщин. Она путешествовала в далеких странах и видела неведомые места, и она стала мудрой — мудрой, как мужчина, такой мудрой, что умеет доставлять им радость. И в старости твоей она будет давать тебе радость. И твои воспоминания о ней, о том, какой была она в дни твоей молодости, будут сладки. Ибо ты будешь знать всегда, что она была для тебя облегчением, миром, отдыхом и была лучшей для тебя женой, чем другие женщины для других мужчин.

— Пусть будет так, — сказал Негор, и страсть по ней съедала его сердце, и объятия его раскрывались для нее — как руки голодного человека тянутся за пищей.

— Только тогда, когда покажешь им дорогу, Негор... — остановила она его. Но глаза ее были нежны и влажны, и он знал, что она смотрит на него так, как никогда еще женщина на него не смотрела.

— Хорошо, — сказал он и повернулся решительно. — Я пойду сейчас переговорить с вождями. Пусть они знают, что я иду показать дорогу русским.

— О, Негор, мой муж! Мой муж! — прошептала она вполголоса, глядя ему вслед. Но она сказала это тихо — даже Старый Кинуз не услышал, несмотря на то, что слух его со времени ослепления стал очень чуток.

Через три дня русские вытащили Негора, как крысу, из ущелья, куда он спрятался. Его привели к Ивану, «Ивану Грозному», как звали его те, кто за ним следовал. Негор был вооружен плохим копьем с костяным наконечником. Он кутался в свой заячий тулуп и дрожал как в лихорадке, несмотря на то, что день был жаркий. Он качал головой, показывая, что не понимает слов Ивана, и делал вид, что очень устал и болен и хочет только отдохнуть. Он указывал на свой желудок, объясняя, где у него болит, и продолжал сильно дрожать. Но с Иваном был человек из Пэстилика, говоривший на языке Негора. Они долго тщетно расспрашивали Негора про его племя, пока, наконец, человек из Пэстилика, по имени Кардук, не сказал:

— Иван приказал, чтобы тебя засекли до смерти, если ты не будешь говорить. И знай, мой незнакомый брат, что слово Ивана — закон. Я — твой друг, а Иван — враг. Ибо я не добровольно покинул свою страну у моря. Но я хочу жить и поэтому подчиняюсь воле моего повелителя. И ты будешь исполнять его приказания, если ты разумен и хочешь жить.

— Незнакомый брат мой, — ответил Негор, — я в самом деле не знаю, куда ушел мой народ, ибо я был болен и мои ноги изменили мне и я отстал от них.

Негор ждал, пока Кардук говорил с Иваном. Затем он увидел, что лицо русского потемнело, и, по знаку его двое людей подошли к Негору с двух сторон, щелкая в воздухе тяжелыми плетями. Тогда он представился сильно испуганным и громко кричал, что он больной человек и ничего не знает, но он скажет то, что знает. И так хорошо он им рассказал, что Иван приказал своим людям двинуться вперед. Рядом же с Негором шли люди с плетями, чтобы он не мог убежать. И когда он говорил, что ослабел от болезни, и отставал от них, они его секли до тех пор, пока он не кричал от боли и не находил сил идти дальше. Когда же Кардук сказал ему, что все для него изменится к лучшему, как только они догонят его племя, он спросил: «И тогда я



смогу отдохнуть и не двигаться?»

Он постоянно повторял этот вопрос: «И тогда мне можно будет отдохнуть и не двигаться?»

В то же время, прикидываясь очень больным и осматриваясь мутными глазами по сторонам, он подсчитывал людей, входивших в отряд. Вместе с тем он убедился, что Иван не узнал в кем человека, которого бил перед воротами крепости. Странное сборище представилось его глазам. Здесь были охотники славянского происхождения с белой кожей и могучими мускулами; короткие, коренастые финны со сплюснутыми носами и круглыми лицами; уроженцы Сибири, чьи носы были похожи на орлиные клювы; были и худые люди с раскосыми глазами, в жилах которых монгольская и татарская кровь смешивалась со славянской. Это все были полудикие искатели приключений из далеких стран за Беринговым морем. Огнем и мечом они завоевывали новые земли и жадно захватывали их богатства — пушнину и кожу. Негор глядел на них с удовлетворением, мысленно представляя себе, как они лежат раздавленные и безжизненные в скалистом проходе. И всегда рядом с этим он видел лицо и облик Уны, ожидающей его наверху в скалах, и постоянно голос ее звучал в его ушах, и он чувствовал на себе теплый и нежный блеск ее глаз. Но вместе с тем он не забывал прикидываться больным и спотыкался там, где путь был труден. И по-прежнему кричал под ударами плети. При этом он все время опасался Кардука, так как знал, что ему доверяться нельзя. У него был фальшивый взгляд и слишком болтливый язык, слишком болтливый и гладкий, думал Негор, не похожий на простую, честную речь.

Весь день они шли. На следующий день, когда Кардук, по приказу Ивана, задал вопрос Негору, последний ответил, что вряд ли они встретят племя раньше завтрашнего дня. Но Иван, с тех пор как он доверился указаниям Старого Кинуза и жестоко за это поплатился, ни во что больше не верил. Поэтому, когда они пришли к проходу среди скал, он остановил свои сорок человек и спросил через Кардука: «Свободна ли дорога?» Негор осмотрел ее покорным взглядом. Это был широкий спуск, ведущий вдоль скалы, и весь он был покрыт кустарником и ползучими растениями, где могли хорошо спрятаться десятки племен.

Он покачал головой.

— Там ничего нет, — сказал он, — дорога свободна.

Снова Иван переговорил с Кардуком, и последний сказал:

— Знай, незнакомый брат, что если твои указания неправильны, если твой народ загородит путь или нападет на отряд Ивана, ты тотчас же умрешь.

— Я указываю правильно, — сказал Негор, — дорога свободна.

Но Иван не доверял и приказал двум из своих охотников подняться на вершину скалы. Двое других стали, по его приказу, по обе стороны Негора. Они приставили свои ружья к его груди и остановились, выжидая. Весь отряд ждал. И Негор знал, что если вылетит хоть одна стрела или копье, — он умрет. Два охотника лезли все выше и выше. И когда они дошли до вершины и махнули шапками в знак того, что все в порядке, они казались маленькими черными точками на фоне светлого неба.

Ружья были отведены от груди Негора, и Иван приказал двинуться вперед. Иван молчал, задумавшись. Около часа он шел, как бы что-то обдумывая, и тогда, через Кардука, спросил Негора:

— Как ты знал, что дорога свободна, не осмотрев ее?

Негор подумал о птицах, которых он видел сидящими на скалах и в кустах, и улыбнулся: это было так просто. Но он пожал плечами и ничего не ответил. Он думал о другом проходе в скалах, куда они направились, и где птиц уже не будет. И он был рад, что Кардук — уроженец берегов Великого Туманного моря, где нет деревьев и кустарников и где люди обучаются морскому искусству, а не искусству равнин и леса.

Три часа спустя, когда солнце было высоко на небе, они пришли ко второму проходу в скалах, и Кардук сказал:

— Смотри во все глаза, незнакомый брат, ибо Иван на этот раз не намерен ждать, пока люди пройдут вперед осмотреть дорогу.

Негор посмотрел, а рядом с ним стояло двое людей с ружьями, приставленными к его груди. Он увидел, что все птицы улетели, и в одном месте он заметил блеск ружейного дула на солнце. И он подумал об Уне и вспомнил ее слова: «Когда сражение начнется, ты должен тайком скрыться, чтобы не быть убитым».

Два дула упирались в его грудь. Это было не совсем то, на что она рассчитывала. Очевидно, нельзя будет никуда уйти. Он умрет первым, когда начнется сражение. И он сказал твердым голосом, но как бы от болезни продолжая дрожать:

— Дорога свободна.

Иван двинулся вперед со своими сорока людьми из далеких стран за Беринговым морем. За ним шел человек из Пэстилика, Кардук, и Негор, к груди которого приставлены были ружья. Подъем был долгий, и они не могли двигаться быстро. Но Негору казалось, что они очень быстро приближаются к середине прохода, где была засада.

В скалах направо раздался выстрел. Негор услышал боевой клич своего племени и в течение секунды успел увидеть, что скалы и кусты как бы оцетинились выступившими из-за них толпами его одноплеменников.

Затем он почувствовал, что внезапно огненный взрыв словно разрывает его пополам. Он упал, ощущая острую боль: в его изнемогающем теле жизнь боролась со смертью.

Он держался за свою жизнь с жадностью скупого, цепляющегося за свои сокровища. Он все еще дышал, и воздух наполнял его легкие мучительной сладостью. Смутно до его сознания доходили проблески света и волны звуков. И смутно он видел, как падают, умирая, охотники Ивана, и как со всех сторон стекаются к месту избиения его брата, наполняя воздух криками и шумом оружия. А сверху женщины и дети сбрасывают громадные глыбы, которые прыгают, как живые существа, и с грохотом падают вниз.

Солнце плясало над ним в небе; огромные скалы колебались и качались, а он все еще смутно слышал и видел. Когда же грозный Иван упал у его ног, безжизненный, раздавленный упавшей глыбой, он вспомнил слепые глаза Старого Кинуза — и радовался.

Затем звуки замерли, глыбы больше не скатывались мимо него, и он видел, как люди его племени подходят все ближе и добивают раненых копьями. Он смутно различал, как рядом с ним могучий русский охотник поднимается в последней схватке за свою жизнь и падает, пронзенный десятками копий.

Затем он увидел над собою лицо Уны и ощутил ее объятья. И на мгновение солнце остановилось и громадные колеблющиеся стены скал застыли.

— Ты храбрый человек, Негор, — услышал он ее голос. — Ты мой муж, Негор.

И в это мгновение он пережил всю ту жизнь радости, какую она ему сулила, и обещанные ею смех и песни. И в то время как в небе медленно исчезало для него солнце и жизнь его постепенно отливала, он был объят сладостным воспоминанием об Уне. И по мере того как память его тускнела и бледнела и проблески ее сменялись нарастающей темнотой, он узнавал в объятьях любимой действительность предвещанного ему отдыха, исполнение предсказанного ему покоя. Когда же черная ночь охватила его, лежащего на ее груди, он ощутил великий мир, проникающий вселенную, он познал в замирании уходящих сумерек таинственное наступление Тишины.

Данная книга была скачана с сайта [Librs.net](http://Librs.net).

---

---

**notes**



Птицы из породы тетеревов, зимой меняющие свою черную или коричневую окраску на белую.

Пискарь (пискун, вьюн) — род рыбы из подсемейства вьюновых. Живет в озерах и реках с илистым дном; при высыхании воды зарывается в ил и может долго просуществовать вне воды. Не следует смешивать пискаря с пескарем, обитателем чистых проточных вод, рыбой из семейства карповых.

Казус — случай.

Лорелей — по немецкой легенде — волшебница, жившая на скале у Рейна и завлекавшая путников чарами песен.



Индейская хижина.

Статический — устойчивый, неподвижный. Динамический — подвижный, находящийся в движении.

Пляска святого Витта — нервная болезнь, выражающаяся в судорожных движениях головы, рук и ног при полном сознании. Названа по имени святого, к которому в старину суеверные люди обращались на Западе с молитвой об исцелении этой болезни.

Адонис — один из любимцев Венеры, страстный охотник. В переносном смысле — красавец.

Леда — по греческой мифологии — жена спартанского царя, соблазненная Зевсом под видом лебедя.

Понтер — в азартной игре — ставящий на карту известную сумму против банкмета.